

ПУБЛИКАЦИИ

С.П. Шевырёв

СТАТЬИ В «МОСКВИТИЯНИНЕ» (1841–1843)^{*}

С 2019 г. началось издание собрания трудов С.П. Шевырёва в семи томах. Помещаем статьи из журнала «Москвитянин» за 1841–1843 гг. (некоторые ни разу не переиздавались), связанные с культурой зарубежных стран.

СТАТУЯ КИЕВЛЯНИНА, НАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ФОНТАНА В МОСКВЕ

Мы, в Москве, почти вовсе чужды художественных наслаждений, которыми так изобилъна Италия и которые распространяются теперь по всем столицам Европы. Нам вовсе не знакомо здесь удовольствие: с прогулки завернуть в мастерскую художника и какой-нибудь час провести перед статуей, барельефом, картиной; покинуть хотя на несколько времени тяжелый мир существенности и забыться легко и приятно в мире идеальном. Да, весело жить в том же городе, где творит резец Торвалдсена, Тенерани, или кисть Брюллова, Бруни, Каульбаха... Там не потеряна ни одна минута в жизни, и самый отдых от труда исполнен мысли и чувства.

Нам недавно случилось ощутить наслаждение, подобное римским, в нашей столице, и мы тем охотнее передаем его, что это случается у нас так редко. На Чистых Прудах живет у нас в своем

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 18-012-00150: Шевырёв С.П. Полное собрание литературно-критических трудов: в 7 томах.

эстетически убранном доме художник, которого имя звучит по-итальянски, но который воспитанием, языком, сюжетами своих произведений принадлежит России. По статуям и бюстам, насыщающим двор его, вы легко отгадаете, что это жилище ваятеля. Зима нахлобучила на Ватиканского Юпитера белый снежный колпак, вроде фригийского: бог громов поник под ним и не в силах своими бровями стряхнуть его. Известно, что фригийский колпачок в древней скульптуре является на головах пленных царей: оно и кстати на голове пленного царя Олимпа, который попал в гости к русской зиме. Далее перед домом два древние воина в латах: зима на их латы наложила двойные снежные, и воинам как будто тяжело под холодною ношней.

Гостеприимный хозяин, г. Витали, показывает гостям, кроме мастерской, и дом его, который убран прекрасно лепною работой самого художника и многими картинами, ему принадлежащими. Здесь соединил он рельефные бюсты великих художников мира и друзей своих; здесь между прочим увидите вы и бюст Брюллова, метко схваченный глазом и рукою артиста, который в сходстве очертаний, конечно, не уступит первейшим ваятелям. Замечательно в бюсте нашего Брюллова чело его, напоминающее Юпитера Ватиканского.

Но пойдемте в мастерскую г. Витали. Там ожидает нас наслаждение изящное, готовая статуя, только что слепленная художником... Она задумана по желанию просвещенного вельможи, пекущегося об украшении столицы, которая ему вверена; она будет отлита из бронзы для фонтана перед Иверскими воротами и останется собственностью нашей Москвы...

Вы помните в летописи Нестора простодушный и скромный рассказ о подвиге киевского отрока... Печенеги, в отсутствие Святослава, обступили Киев, где затворилась Ольга с своими внуками... Беда угрожала великая. Люди томились голодом и жаждою... Нельзя было никому ни в Киев, ни из Киева... Воевода Претич стоял на другом берегу Днепра и не знал об опасности. Встужили люди в городе и сказали: нет ли кого, кто мог бы перейти на ту сторону и сказать воеводе: коль не подступишь к нам с утра, мы сдадимся печенегам? – И сказал один отрок: я перейду; а они ему: иди. Он вышел из города с уздою; пробежал сквозь печенегов, говоря: не видал ли кто коня его? А говорил он по-печенежски,

и враги думали, что свой. Прибежал он к реке, скинул одежду, бросился в Днепр, и поплыл... Печенеги, смекнув дело, устремились на него, пустили стрелы, но не могли ничего сделать. Память народа сохранила подвиг юного спасителя Киева, но не сохранила его имени.

Вот он перед вами, этот великолдуший отрок, в идеальных атлетических формах изящного древнего ваяния... Вы узнаете его по этой узде, которую он держит в правой руке своей и которую обманул он печенегов... Он только что добежал до Днепра... Щит, меч и шлем лежат у ног его... Он сбрасывает с правой руки свою рубашку... Он готов уже броситься в Днепр... Но отчего же на всем бегу он остановился? Гневно поднял вверх левую руку, и обратил назад голову, исполненную негодования и презрения? Кому же он посмеивается? Что взволновало так черты лица его? Отчего сморщилось это чело, надулись эти ноздри и подались его губы? С чела, из ноздрей, с уст пышет гнев... Волосы развеиваются по ветру и показывают, что он еще бежит и остановился на мгновение... Взгляните вниз... Вы видите эту стрелу, которая упала на щит и раздробилась об него, не достигнув юноши... Эту стрелу послали ему вслед печенеги; но Бог сохранил великолдушного... Он верит в свой подвиг, верит в покровительство Божие... И стыдно бы было ему торопиться, как будто от страха... Нет, на всем бегу он успел еще сдержать себя... и отвечает на крик и стрелы врагов своих взором гнева и посмения... и вскинул он левую руку вверх, как будто говоря им: стреляйте вы, сколько хотите! я не боюсь вас!

Вот та минута, в которую застал великолдушного отрока ваятель и выпил его смелою рукою. Конечно, нельзя было лучше придумать минуты и для славы героя, и для требований того искусства, которым художник хотел изобразить подвиг. И верно и гениально замыслена эта остановка среди летучего бега! Если бы ваятель изобразил его в ту минуту, как он со всех сил бросается в волны Днепра, — ваяние, любящее покой среди движения, потеряло бы в красоте, и слава самого героя не явилась бы во всем своем блеске.

Постигнув мысль создания, остановим взоры свои на чертах прекрасного тела. Сильно и пластически протянута главная линия от левой ноги до шеи, выражаяющая движение статуи. Ей в силе соответствует и правая нога, сдержанная бег отрока. Изящны

формы полного созревшего тела. Живо и исполнено выражения лица. Оно напоминает несколько черты Аполлона Бельведерского; но подражать высшим образцам древнего ваяния – значит творить. Мощно напряглись мускулы повернутой шеи и не нарушили красоты быстрого движения. Может быть, слабее других частей тела левая рука, которую поднял юноша. Здесь красота окруженной формы (так кажется нам) ослабила, может быть, несколько быстроту движения, внушенного негодованием. Но у всякого искусства есть свои законы – и трудно победить их художнику. С какой стороны ни обойдите статую, – она отовсюду прекрасна, изящество пластических линий нигде не нарушается: это великое достоинство в произведении, которое назначено для публичного открытого места и должно быть видно со всех сторон.

Кроме Киевлянина, мы видели в мастерской г. Витали эскиз Днепровской Русалки, которая назначена для того же фонтана, чтобы указать на Днепр – место события. Сладострастная дева лежит, облокотясь на урну, из которой льется вода: коса ее заплетена по-русски и повисла над водою... До половины она дева... Но туловище кончается двойным чешуйчатым хвостом, который выстется по скале, где лежит она... Мысль прекрасная и идет к произведению... По эскизу нельзя еще судить об исполнении. Должно надеяться, что оно будет соответствовать статуе, которая, конечно, возбудила бы внимание любителей искусства всюду, где оно процветает.

Нельзя не подивиться тому, как г. Витали, живучи в городе чужdom пособий художественных, мог сохранить такую свежесть пластического воображения и такое чувство красоты, истинно древней... Это признак дарования гениального.

Везде такое произведение, как Киевлянин г. Витали, привлекло бы внимание публики, и мастерская художника сделалась бы предметом прогулок и посещений... Мы надеемся, что многие, прочитав эти строки, пожелают взглянуть на статую и поверить собственными глазами то, что здесь мы передали слабо, поскольку может слово выражать красоты резца. Скромный художник, не разглашающий о своем прекрасном произведении, всегда рад

добровольным посетителям и охотно делит с ними свои наслаждения изящным¹.

ПОСЛЕДНЯЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ ДЖУСТИНИАНИ В МОСКВЕ

17-го ноября в последний раз импровизировал Джустиниани в Москве – и, казалось, никогда еще не был он так исполнен вдохновения, как в этот день. Это было в зале Его Превосходительства А.Я. Булгакова. Одна из первых тем, одушевивших сильно поэта, была «На приезд Государя Императора в Москву, во время холеры». Три билета с одною и тою же темой выражали общее желание публики – и Джустиниани, мимо жребия, блистательно отвечал ему. К сожалению, стенографы в этот день не записывали импровизаций – и все стихи исчезли навсегда, оставив на душе слушателей одно прекрасное впечатление. Сильно изобразил поэт бедствие города, и прекрасно уладил картину достопамятным приездом венценосного утешителя. Исполнена грации была пьеса на тему «Ангел Хранитель у колыбели младенца». Поэт слагал ее октавами на рифмы, подсказанные ему из Тассова «Иерусалима». Сонет «На приезд Наполеонова праха в Париж» мог бы конечно стать выше той холодной декламации, которой недавно Виктор Гюго приветствовал останки великого мужа. В стихах французского лирика не менее девяти градусов мороза, как было в день великолепного въезда. Джустиниани в Москве был вдохновеннее, чем Гюго в Париже. У нас осталась в памяти одна заключительная мысль: «Франция отказалась тебе в престоле, зато дает тебе гробницу – и того, кто в мире гремел ее славою, ждет в Париже немая келья (*una muta cella*)». – Все посетители изумлены были последним торжеством силы соображения. Поэт сочинил на бумаге в одно и то же время три сонета, на три разные темы, по одним и тем же рифмам. Темы были: Колизей, Гюльнара, Рафаэль.

Но особенно тронул слушателей отлетавший певец стихами, в которых воспел свое прощание с Москвою. Тут душа его разли-

¹ Г. Витали живет на Чистых прудах, по левую сторону бульвара от Мясницкой, в собственном доме.

валась чувствами... Всякий стих вылетал из нее, теплый, полный и звучный... Несколько стихов из этой замечательной пьесы удержано было необыкновенно памятью одной дамы, которая поэтическим чувством своим понимала поэта и умела ценить его летучие вдохновения... Эти стихи, сообщенные нам, мы с благодарностью к той, которая уловила их мгновенное бытие, передаем читателям, как последний след Джустиниани в нашей столице, как последние звуки его лебединой песни в Москве, в которых выразил поэт чувство для нас лестное:

Riposando l'ale stanche
 Nella gran città di Pietro,
 Il mio sguardo ancor indietro
 Sul Cremlin rivolgerò.
 Per sua patria tutto il mondo
 Il Poeta riconosca;
 Ma il cuor mio solo a Mosca
 Dolcemente palpitò.

Вот слабый перевод этих стихов:

На покой усталы крылья
 Опустив в Петровом граде,
 Я назад, на Кремль великий,
 Снова взор свой обращаю.
 Целый мир своей отчизной
 Признавай, поэт-скиталец;
 Но в Москве лишь чувством сладким
 Сердце билося мое.

ПАРИЖСКИЕ ЭСКИЗЫ. ВИЗИТ БАЛЬЗАКУ

I.

Бальзак между литераторами Парижа

Ничего нет легче в Париже, как знакомиться с французскими литераторами: все они так любезны, доступны и гостеприимны; но ничего нет труднее, как видеть их вместе. Все люди во Франции

имеют места своих сходьбищ: для мужей государственных всех партий есть Тюильрийский салон и камеры; для купцов биржа; для людей светских – гостиные Сент-Жерменского предместия и сад Тюильри по пятницам, куда без шляпы, в простом картузе, и войти невозможно; для ученых – институт; для студентов – трактир избушка (*la Chaumière*); для пуассардок – рынок невинных (*le marché des innocens*); наконец, даже для утопленников и самоубийц есть морга: одни литераторы в Париже не имеют приюта!.. И между тем французы – народ самый общежительный в Европе!..

Конечно, Академию сорока нельзя назвать местом сбора литературы французской. Эти сорок далеко не составляют и сороковой части пишущего мира Франции. К тому же, заседания Академии, одни лишь торжественные, публичны, а прочие закрыты: Академия только торжествует при всех, а действует тайно. Да и академики – это особый род литераторов; это литераторы в мундирах, *ex officio*, при шпагах и по форме; Академия – род литературно-присутственного места, где драма, ода, эпиграмма поступают за номером, в протокол; где литератор – чиновник, и Музы, как инвалиды, на пенсии у государства.

Академия Французская принадлежит к числу тех противоречий, которые вы нередко встречаете в Париже. Например, площадь, где камера депутатов и Тюильрийский дворец прежде всего бросаются в глаза, называется площадью Согласия (*la Place de la Concorde*); Король французов, которого дворец есть род охранительной клетки, видит из своих окон в перспективе поля Елисейские (самая остроумная эпиграмма!). Улица *Mира* (*la Rue de la Paix*) ведет к Вандомской колонне!.. Так, середи этого нового Парижа, который разрушил все прежнее, который дожил до того, что ему все вчерашнее кажется устарелым, который во всем ненавидит обряд и предание, – устояло это полукитайское учреждение, эти мистические сорок кресел, где литератор, как улитка, прикован к месту своего сидения. Что не публично, что не открыто во Франции? Политика, суд, наука, разврат – все на белом дне, все на глазах у народа. Откровенность есть резкая и благородная черта французской жизни. Одна лишь Академия словесности таит свои заседания; одна она собирается под замок и запирает накрепко двери, как будто непристойный процесс, оскорбляющий нравы... И несмотря на то, все еще академические кресла в почете –

и теперь¹ мы читаем в газетах, что один из Наполеонов современной французской литературы, сам Виктор Гюго просится в опустелые кресла, толкается в запертые ее двери!

Академия Французская никогда не может быть центральным местом литераторов Франции. Она противосмысленна ее жизни, откровенной и дневной. Вот почему академики между писателями Франции играют роли ночных птиц между дневными. Если по странному противоречию иным и хочется в эти покойные кресла, – это уже печальный признак того, что они устали, что им пора подремать с другими – и вольное призвание писателя превратить в официальный титул!

Итак, в сторону академиков! Я хочу говорить о живом мире тех писателей Франции, которые рассеяны по всем закоулкам огромного Парижа, и в блестящих его салонах, и на темных чердаках; которые, ежедневно, на всю Францию и на весь просвещенный читающий мир доставляют по нескольку романов, повестей, рассказов, трагедий, мелодрам, драм, опер, водевилей, критик, отрывков, статей; которые завоевали все книжные лавки и сцены Европы; которые увлекают, волнуют, развращают сердца чтецов своих равно на берегах Сены, Волги и Иртыша, – и гражданское существование которых (я разумею, права на литературную собственность) только в нынешнем году признано Парламентом Франции! Эти литераторы не имеют никакой общественной сходки в Париже.

Литературный мир Франции можно сравнить с безлунною зимнею ночью, когда и яркие планеты закрыты случайно облаками, а всего виднее млечный путь, утомляющий самого зоркого астронома. Вглядываясь пристальнее, вы однако заметите отдельные купы звезд – и в этих семействах свои маленькие солнца, около которых вращаются чуть заметные спутники, более и более тяряющиеся в чернильном эфире пишущей Франции. Эти солнца можно перечесть; их имена известны всей читающей Европе: это Ж. Занд, В. Гюго, Алфред де Виньи, Дюма, Евгений Сю и проч. и проч. Но спутников не пересчитает, конечно, никакой самый зоркий Фрауэнгофер критики: это и невозможно: они рождаются всякий день. Все главные солнца литературы французской живут

¹ Писано в 1839 году.

очень далеко друг от друга, и между ними нет почти никаких сношений, так что луч одного не проникает до другого. Всякий из этих господ считает себя маленьким Наполеоном – завоевателем скрипта литературного. Всякий из них имеет свой маленький двор, своих приближенных, которые распространяют славу своего солнца, в надежде, разумеется, образовать со временем свою собственную систему. Потому, чтобы познакомиться со всеми литераторами Парижа, надобно по очереди поклониться всем ее солнцам – и тогда все спутники будут вам знакомы. Но при этом следует поступать очень осторожно, потому что визит, прежде сделанный г-ну Дюма, может быть очень обиден для г-на В. Гюго, и обратно.

Не имея на все эти визиты пустого времени, я, будучи в Париже, желал только познакомиться с двумя литераторами Франции (разумею молодое поколение), к которым питаю уважение личное: это Алфред де Виньи и Бальзак. Первый принадлежит к числу немногих исключений во Франции: он любит искусство для искусства – и посвятил себя ему свободно, по внутреннему призванию. Он написал немного, но то, что написал, вылилось из души полной и чистой, созрело в глубокой думе и довершено с любовью художника к своему делу. Середи литературного разврата Франции, муза Алфреда де Виньи одна сохранила целомудренную чистоту, нравственный характер, и не повторствовала испорченному, наглому вкусу моды.

Бальзак, хотя не совсем чист от общего греха писать для денег, но конечно есть один из блестательнейших талантов современной Франции. Не им ли создан тип совершенно новый в словесности, тип, отвечающий духу времени: эта светская *повесть*, листок из вседневной нашей жизни, род литературного дагерротипа, в котором всякая подробность отмечена ярко и для которого камер-обскурою служит психологическое познание нравов французских и сердца человеческого? – Но вот что странно: Бальзак, несмотря на то, очень мало оценен в Париже, или потому что он не понят им, или потому что он сказал Франции несколько горьких истин. Конечно, никто из новых романистов не проник так глубоко в отечественные нравы и не открыл столько важных тайн во французской семейной жизни. Провинции Франции имеют более вкуса, чем самохвал Париж: там Бальзак оценен и читаем преимущественно перед прочими писателями. В Париже его романы –

радость гризеток и вообще тех чтецов, в которых глубокое чувство природы вернее сохранилось, чем в искусственных холодных салонах щегольского Парижа.

Кроме моего уважения к таланту Бальзака, мне любопытно было взглянуть на физиognомию того писателя, который имеет весьма сильное влияние на наше отчество. В России Бальзак, по причине всеобщности французского языка, почти национален. В этом опять я более верю свежему и чистому чувству моей нации, нежели приторному вкусу отупелого чувствами Парижа. Но отчего же в России такая симпатия особенно к этому писателю, когда читают всех? – Оттого, что в нем много жизни практической, а в России ничто так не привлекает. Бальзаку недостает одного, чтобы стать выше всех литераторов Франции и завоевать скрипетр словесности: он не сатирик; он слишком холодно списывает эти современные нравы; в нем есть какая-то апатия, непростительная при такой глубокой истине, вызывающей невольно чувство негодования. Он или сам увлечен веком, который знает, или слишком мало субъективен и, легко увлекаясь предметами, забывает в них свою личность. Владей Бальзак, при своем глубоком знании нравов и современной жизни, звонким бичом сатиры – и этот бич в его руке превратился бы, конечно, в скрипетр современной, не только французской, но и европейской словесности. Европа ждет сатирика, единственно возможного поэта в наше время: в своей холодной апатии она бессильна породить его. Но Бальзак мог бы подготовить ему дорогу, потому что владеет половиною дара, ему нужного.

Что касается до отношений общественных Бальзака к прочим литераторам в Париже, то, возвращаясь к прежнему сравнению, я назвал бы его оригинальною кометой, которая сверкает на этом млечном пути без спутников, без двора своего. Бальзак чуждается партий, и в разговоре о других своих соотечественниках благородно беспристрастен и исполнен уважения к людям даровитым; наконец, в своем наружном тоне, обычаях, привычках он совершенно выдержит сравнение, потому что оригинальность его простирается до какого-то цинизма, совершенно необыкновенного между писателями Франции. Это Диоген между ними: вот еще одна из причин, почему в щегольском и натянутом Париже он не может нравиться. Ценители его таланта, может быть, не без любопытства

прочтут эти страницы, в которых я постараюсь передать оригинальные черты его наружной физиognомии, схваченные мною в одно с ним свидание; но прежде, по порядку рассказчика, я должен рассказать:

II.

Как трудно в Париже отыскать адрес Бальзака?

Некоторые знакомые меня уже предупредили об этой трудности. Были темные слухи о том, что Бальзак скрывается от своих заимодавцев, и потому никто не знает, где он живет. Сначала я прибегнул к общему средству, доступному для всякого путешественника. Есть в Париже толстая книга, вмещающая адреса всех знаменитостей и незнаменитостей города, и носящая звонкий титул книги ста тысяч адресов (*le livre des cent mille adresses*). Менее, чем на миллион жителей 100 000 адресов!.. Я отправился к своему книгопродавцу, у которого брал «Парижские новости», чтобы предложить вопрос мой этой книге, знающей адрес всякого десятого обывателя Парижа. Неужели же Бальзак не будет в числе этих десятых?

Я развернул книгу, которая заключает в себе сначала адресы по занятиям людей, потом общий азбучный список. В первой части, между сословиями банкиров, негоциантов, портных, сапожников, фабрикантов, вы найдете также и сословие литераторов Парижа, под скромным заглавием: *hommes de lettres!* Вот единственное место, где собраны они вместе, если не лицами, то, по крайней мере, именами своими. Как же не быть тут Бальзаку? Пробегаю букву *B*: напрасно! – Но, может быть, аристократическая частица *de* заставила редактора переместить имя романиста под букву *D*... нет, напрасно!.. Смотрю другие имена: они тут: и В. Гюго (*Place royale*), и Альфред де Виньи, и Дюма – все тут!.. Прибегаю к алфавитному списку: *Balzac, charcutier, Balzac cordonnier, Balzac négociant...* Но *de Balzac, homme de lettres*, в книге ста тысяч адресов не существует!

Печально убедившись в этом, я обратился с досадой к книгопродавцу и сказал ему: «Скажите, пожалуйте, неужели г. де Бальзак не считается в числе литераторов Парижа? Его адреса нет в этой книге». – «В самом деле, это странно, – отвечал он мне, – но хорошо ли вы искали?». – «Я искал везде... Но, может быть, вам,

как книгопрода́вцу, это известнее. Не знаете ли вы его адреса?...». — «Я не его изда́тель — и не в силах удовлетворить вашему желанию. Но могу указать вам одну книжную лавку, где вам это, я думаю, скажут». — «А где эта лавка?». — «Недалеко отсюда на Бирже́вой пло́щади, Place de la Bourse, направо... La librairie de l'Université...».

Я туда... Нахожу лавку... Обращаюсь к книгопрода́вцу с тем же вопросом, но от него получаю тот же ответ отрицательный... Однако, к счастию моему, в этой лавке сидел какой-то гость, принявший участие в моей надобности, и вступил со мною в разговор. «Вам очень будет трудно, даже невозможно отыскать парижской адрес г-на де Бальзака, потому что он не живет в Париже, а за городом, в местечке Пасси, приезжает сюда очень редко по делам своим, и ненадолго. Всего лучше обратитесь за этим к изда́телю его сочинений: он один знает его адрес и вам скажет». — «А где живет его изда́тель?» — «Rue des beaux arts, № 5».

Поблагодарив усердного неизвестного, я решился тотчас же по этим следам искать Бальзака, как будто неотступный его заимодавец. Препятствия еще более завлекали меня разгадать тайну его адреса. Я поехал в Rue des beaux arts, к изда́телю Бальзаковых сочинений, к тому самому Суверену, которому Бальзак, как известно, закабалил вперед свое авторское дарование. Я застал его в маленькой тесной комнатке, за скромным обедом, с семьею. После извинений в том, что я беспокою его во время семейной трапезы, я обратился к нему с своим вопросом.

«А позвольте мне узнать, — отвечал он мне другим таинственным вопросом, — зачем вы хотите знать адрес г-на де Бальзака? Pardonnez moi cette question indiscrette».

Я объявил ему себя и прибавил, что не имею в этом никакой другой цели, как узнать писателя, которого талант уважаю, и который производит большое влияние в моем отечестве.

Тут тон его переменился — и я мог догадаться, что он сначала подозревал во мне, может быть, какого-нибудь заимодавца Бальзакова, имеющего на его адрес опасные виды.

«А! если это так, — продолжал он, — то не угодно ли вам написать записку к г-ну де Бальзаку и объявить ему о вашем желании? Я ручаюсь вам в том, что ваша записка будет доставлена верно, и что через несколько дней вы получите непременно ответ, в котором г. де Бальзак вам откровенно скажет, может ли он вас принять

или нет?». – «О как я благодарен вам за вашу любезную услужливость! Я завтра же доставлю вам эту записку и прошу вас покорнейше быть верным вашему слову». – «Но зачем же вам два раза ко мне ездить? Вы можете это сделать сейчас: вот мой кабинет; здесь вы найдете все, что вам нужно для письма, и записка ваша завтра же будет доставлена».

Конечно, нельзя быть любезнее, как г. издатель Бальзаковых сочинений. Я воспользовался приглашением, вошел в кабинет, написал записку, и оставил ее услужливому книгопродавцу вместе с своею карточкой. – «Дня через два или через три я обещаю вам ответ». – «Заранее благодарю вас».

В моей записке я сказал Бальзаку, что не имею никаких других прав на его гостеприимство, как звание иностранца, питающего к его таланту личное уважение, и имя русского, принадлежащего стране, на которую он своим дарованием производит влияние сильное. Дня через три я получил очень любезный ответ.

Monsieur,

La République des lettres a des usages, auxquels se soumettent les existences les plus occupées. Je suis jusqu'à mercredi prochain à la campagne, ou j'aura l'honneur de vous recevoir. Vous appartenez à un pays qui a bien des droits à mon estime et à mon admiration, et je pense que vous venez d'un pays.

Agréez mes compliments... De Balzac.

Aux Jardies, à Sèvres, Chemin vert, près le parc St Cloud¹.

Наконец, я имел в руках этот адрес, который мне стоил таких поисков.

III.

Бальзак помешник

Через день, по получении записи, взявшим фиакр, я отправился в деревню к Бальзаку. Приезжаю в Севр, спрашиваю прохо-

¹ Республика словесности имеет обычаи, которым подчиняются люди самые занятые: до будущей среды я остаюсь в деревне, где буду иметь честь вас принять. Вы принадлежите стране, которая имеет много прав на мое почтение и удивление. Я думаю, что вы из нее... Де Бальзак.

Aux Jardies, в Севре, зеленая дорожка, близ парка Сен-Клу.

жих и обывателей: где *Chemin vert, aux Jardies?* Никто не знает. Кучер мой догадался обратиться к трактирщице местечка, потому что такого рода люди более сведущи в подробностях местных. Я пересказал ей адрес, но она задумалась, и никак не могла отвечать на мой вопрос. Я решился на всякой случай сказать имя Бальзака, и тут моя старушка с веселым видом разрешила все мои недоумения и рассказала кучеру, как надобно проехать через местечко Овр (Auvray), где поворотить, где спросить, и заключила словами: «*Et puis, lorsque vous y serez, vous n'avez qu'à demander; tout le monde vous le dira... M-r de Balzac est très connu par là... c'est un propriétaire!*»... (Как вы там будете, только спросите: вам всякий скажет: г-н де Бальзак там очень известен: он *помещик!*!). — Последнее слово меня немного разочаровало; я было сначала душевно обрадовался народной известности литератора, которого искал, — но слово «помещик» разогнало все мои мечтания.

Поворотив направо из Севра, мы ехали рядом прекрасных дач, утопавших в роскошной и душистой зелени весны. Кучер по временам обращался с вопросами к прохожим, и все указывали, что надобно ехать далее. Встретилось трое работников: на вопрос кучера в три голоса отвечали они и в три руки указали, в правой стороне, на поместье г-на де Бальзака, которое наконец открылось глазам моим.

Среди большого пустыря, на покатости горы я увидел высокой домик, строенный башенкой, весь новенькой, с иголочки, готической архитектуры... Ландшафт, его окружавший, был довольно разнообразен; лес оттенял небосклон; по пустырю живописные сосны поднимались к небу; неровность почвы придавала живость картине. — Моя каретка остановилась у дороги, ведущей к дому; кучер отказался везти далее, потому что вся она была избита и изрыта ухабами... Но оставалось несколько шагов до дома. Я пошел пешком. Эту зеленую дорогу можно бы было скорее назвать дорогой грязной.

Подхожу к воротам — и наверху их читаю надпись: *Aux Jardies.* Она подтвердила мне, что я не ошибся. Вхожу в калитку на открытый двор, среди которого стоит дом и влево флигель. По двору ходило двое... Подалее молодой человек, длинноволосый, в сюртуке, с открытой головой и шеей... Поближе ко мне другой, старше первого, в соломенной шляпе с большими полями, в длин-

ном-предлинном белом канифасном сюртуке, который широко развеялся кругом его довольно полного тела... Из-под шляпы сверкали черные, быстрые глаза и горели розовые полные щеки человека, как бы запыхавшегося от дел хозяйствих... Несколько работников суетилось по двору... Я обратился к канифасному сюртуку с вопросом о том, здесь ли живет г-н де Бальзак? – и получил в ответ: *C'est moi, Monsieur.*

Тут внимание мое от белого халата-сюртука обратилось на живую выразительную физиognомию писателя, который стоял передо мною в сельском неглиже, как помещик, занятый стройкой своего дома. Я застал его не в гостинной, не в кабинете, не с пером в руках, но среди сует и мелочей той жизни практической, которую он же сам так искусно описывает.

Я напомнил ему о записке – и объявил свое имя. После обыкновенных учтивостей и фраз первого знакомства, Бальзак сказал мне: «Прошу вас об одном условии: быть со мною без церемоний, и извинить меня, что я принимаю вас среди хлопот и в беспорядке моего хозяйства. Вы меня увидите, как я есмь. Но пойдемте ко мне в дом, в мою библиотеку». – Отдавши несколько приказаний работникам, бывшим на дворе, и велев одному из них за ним следовать, он повел меня во флигель своего дома. По лестнице взошли мы в небольшую комнату, в которой стены были уставлены шкапами красного дерева, а весь пол завален книгами, по большей части богато переплетенными. Тут лежала вверх дном вся библиотека Бальзака.

В комнате стояло два стула, но и те были заняты книгами. Вежливый хозяин сам очистил место своему гостю, и просил меня сидеть в шляпе. Снова очень мило повторил он мне свои извинения в том, что меня так принимает. «Прежде всего будем искренни: искренность – лучшее качество. Вот видите ли вы этого человека? – сказал он, указывая на работника. – Это Провансаль, мой столяр. Он может мне служить только до трех часов, а после уйдет: его и не сыщешь. Я тороплюсь ужасно: мне надобно устроить сегодня эти шкапы. Графиня N. обещала у меня обедать на будущей неделе, – а мой дом до сих пор не готов. Но вы увидите, как пойдет все дело прекрасно: мы будем и работать, и разговаривать...».

«Я благодарю вас уже за то, что вы меня приняли при ваших хозяйственных суетах, – отвечал я Бальзаку, – и прошу вас, без

извинений, продолжать ваше дело. Что это у вас за комната? Проект кабинета?».

«Нет, это библиотека и вместе обеденная зала. А ведь, не правда ли, хороша мысль – сделать из библиотеки обеденную залу?».

«Да, отчего ж не так?».

«Провансаль, вставляй же доски, а ты, мой милый Grammont (длинноволосый приятель Бальзака был уже в комнате), помогай мне искать книги!..».

Между тем Бальзак скинул с себя соломенную шляпу, свой канифасный сюртук-халат, свои туфли и начал ходить по книгам, искать их, носить, уставлять, продолжая со мною разговор и давая изредка приказания Провансалю.

Тут я имел случай, наблюдая его, напечатлеть черты его в своей памяти... Толстенькой, кругленькой человек небольшого роста, на коротеньких ножках; грудь и плеча широкие; короткая шея; лицо овальное, румяное, полное, свежее, несколько загорелое от сельской жизни; черные волосы, коротко обстриженные; глаза того же цвета, беглые, живые, с огнем, который загорается при одушевленном разговоре; нос прямой и округленный... Физиognомия вообще одушевленного сангвиника, который жадно ловит впечатления внешние и более живет в природе, чем внутри себя. Во всех движениях его необыкновенная быстрота и живость; речь звонкая и скорая; смех простодушный, сердечный, искренний. Всем своим внешним бытом, особенно последнею чертою яркого смеха, своим остроумным, беглым разговором, и наивною непринужденностию он много напомнил мне нашего Пушкина.

О наружном цинизме Бальзака меня предупредили... Он и сам прежде всего начал с искренности... Потому я без удивления смотрел, как он в рубашке довольно запачканной, полуодетый, в чулках без туфлей, наблюдая руками равновесие, ступал по спинкам своих книг... То выбирая взглядом разрозненные томы писателей в одну кучу, то отыхая от своей работы, он продолжал со мною очень живой разговор, из первых вопросов которого можно было заметить зоркого наблюдателя нравов.

IV.

Разговор с Бальзаком

Его любопытство обратилось сначала на место, которое я занимаю, и он предложил мне об этом некоторые вопросы. – «Скажите, ваше звание, как профессора, соответствует у вас чину?». – «Да, оно сопряжено с почетным чином». – «Военным?». – «О нет, гражданским!». – «Но у вас все звания стоят на лестнице чинов, как в Китае, с тою разницей, что у вас чины военные, а там учёные?». – «Отчего ж, как в Китае, и почему военные! У нас есть чины, как в Германии, откуда мы их заняли, и профессор может быть надворным советником – и по отличию дойти даже до пре-восходительства». – «А! так это не военный чин, в котором вы считаетесь?». – «Ученая служба принадлежит к гражданской час-ти. Я не мог бы быть военным теперь, если б и захотел, выключая разве милиции, но это в военное время. Во Франции, профессоры гораздо более на ноге военной. Я хотел быть на лекции у Гиньо, переводчика Крейцеровой “Символики”, который преподает древ-нюю географию... Вдруг, читаю записку, что профессор не будет читать лекции, потому что должен быть под ружьем, в карауле. Профессор под ружьем, в карауле! (*Un Professeur montant la garde!*) Это дело у нас неслыханное, и я первый пример этого видел толь-ко в Париже!...».

«Сколько профессор получает у вас жалованья?».

«От 4500 до 6500 франков в год».

«А! в самом деле! Это хорошо. Это лучше, чем у нас. Я знаю в Париже некоторых профессоров Колледжуза, людей очень достойных, которые получают всего-навсего 1200 франков в год и должны этим кормить себя и свою науку. Давно ли вы путешест-вуете?».

«Скоро будет год, как я оставил Россию».

«Но разве у вас даются такие долгие отпуска?».

«Я не имею еще кафедры профессора ординарного и путе-шествую с целию усовершенствования. У нас ординарные профес-соры читают, адъюнкты (*les suppléants*) путешествуют, приготов-ляясь к поприщу; у вас в Париже обратно: читают адъюнкты, а профессоры ничего не делают, или заседают в палатах, или министерствуют...».

«Да, это правда... и получают жалованье, заставляя своих адъюнктов читать за малую плату!..».

«Я слышал, что вы имеете намерение посетить Россию. Правда ли это? Мы давно вас ожидали. Однажды разнесся слух, что вы в Одессе и даже в Москве. Русские дамы были особенно нетерпеливы вас видеть».

«Да, я имел это намерение и теперь еще имею. Оно может исполниться, особенно тогда, когда закон о литературной собственности во Франции, о котором теперь рассуждают, пройдет через обе палаты. В таком случае общество литераторов намерено было отправить меня депутатом в Россию для того, чтобы отнести с просьбою к высшей власти об учреждении взаимности этого закона между обоими государствами!».

«А вы знаете ли, что этот закон о литературной собственности, о котором у вас только что начали спорить, уже несколько лет существует в России, и им давно пользуются литераторы или их наследники?».

«Да, я это слышал. Но нет взаимности между государствами, а вот чего бы нам хотелось».

«Но я не понимаю, к чему вам эта взаимность с Россиею? Вам надобно бы учредить ее с Бельгией. Вот ваш подрыв – и отсюда все ваши убытки».

«Да, это правда. Но дело в том, что если Россия нам обеспечит право взаимности, тогда уж с Бельгией нам легко будет справиться».

«А если это так, то поездка ваша могла бы иметь богатые следствия. Вы же имеете особенное право на эту взаимность, потому что мы вас считаем почти нашим писателем: все ваши сочинения так рассеяны и так известны во всей России».

«Вот видите ли? До тех пор, пока этот закон о литературной собственности во Франции не будет утвержден на прочном основании и распространен взаимностию в державах Европы, – до тех пор французский литератор будет человеком самым жалким и несчастным, как он есть теперь!..». (Le littérateur françois restera l'homme le plus misérable, comme il l'est maintenant).

«Помилуйте! что вы мне говорите? Я в первый раз еще слышу о несчастном состоянии литераторов Франции».

«То, что я вам говорю, есть совершенная истина. Я сам еще недавно был в таком положении, что готов бы был ехать в Россию – просить у вашего государя место канцеляриста в каком-нибудь суде (*garçon de bureau*): так приходилось мне плохо!».

«Вы – M. De Balzac *garcon de bureau* в России!.. Вы, право, шутите?..».

«Но все литераторы наши не в завидном положении; все лучшие умы Франции, посвящающие труды свои одной литературе изящной, страдают, терпят нужду... Виктора Гюго разоряет его Жюльета (*Victor Hugo est rongé par sa Juliette*)... Евгений Сю живет тем, что напишет... Он не имеет существования независимого, обеспеченного... Густав Планш... О! я бьюсь об заклад об чем угодно, что теперь у Густава Планша не будет тридцати су в кармане... Держу пари, какое хотите...».

«Но вы открываете мне новости, которые для нас были до сих пор тайною. Я вижу по этому, что литературные дела гораздо лучше идут в России, чем во Франции! У нас писатели независимее и получают больше».

В своем разговоре Бальзак, конечно, разумел не политических литераторов, а тех только, которые возделывают поле художественной словесности. Что касается до политической литературы, то, без сомнения, это есть одна из самых выгодных отраслей промышленности французской. Кому не известно, какие огромные суммы получали Шатобриан и Тьери за свои сочинения? Сколько литераторов в Париже живет одними фельетонами газет политических! Каждый из них считает за нужное прикрепить себя непременно к какой-нибудь газете и быть ее поставщиком. Политика во Франции выносит одна на сильных плечах своих и так называемую изящную литературу. Она кормит все пишущее; она тот наущный хлеб, о котором должны молить писатели Франции. Она и на кафедре профессора, мешая науке, сзывает толпу студентов; она и в театре бормочет сквозь зубы, сжатые строгостью цензуры; она и в журнале мод острит булавки! Она везде. В политических газетах литературные статьи Жаненя, Филарета Шаля, Сент-Бёва служат только роскошною, лишнею приправою существенной их пище. Это то же, что *hors-d'oeuvre*¹ в пышном обеде, что дивер-

¹ <Добавочное блюдо (*фр.*).>

тисмент при трагедии в пять актов... Газеты политические во Франции держат у себя поставщиков литературных точно так же, как паши на Востоке – арапов-плясунов, которые во время отдыха послеобеденного забавляют их от нёчего делать.

Я уверен, что Бальзак сказал мне правду, нисколько не увеличенную... Он один из тех немногих писателей, которые удаляются от мира политического и живут в свободной, чистой атмосфере словесности. Он также не бросается на сцену, которая во Франции есть род трибуны и потому доставляет больше выгод¹. Виктор Гюго, смирный и чувствительный в своих лирических произведениях, неистовствует на сцене затем, чтобы сывать толпу, которая сыплет рукоплескания и деньги.

Что касается до желания Бальзака учредить взаимность литературной собственности между Россиею и Франциею, я думаю, что он или помнил при этом издателя *Revue Étrangère* в Петербурге, который перепечатывал его повести, или метил еще далее. Ему известно, как французский язык распространен в России, по всем концам ее, и какой огромный сбыт для книжной торговли она предлагала бы французам, если б Бельгия не отнимала у них литературной собственности.

Моему патриотическому самолюбию льстило замечание Бальзака. Россия привыкла делать бескорыстное, христианское добро другим государствам: она в политическом мире всякому отдала свое, без возмездия и даже без благодарности, чтобы не сказать хуже, слыша около себя бранчивое жужжание маскированных демагогов, которые, не смея осуждать действия своих правительств, выбрали наше отечество целию своих нападений...² И в литературе подвиг учреждения взаимных прав между народами ожидает со временем сильного влияния России.

К тому же, если есть страна, призванная на то, чтобы олицетворить у себя великую мысль, которую завещал Гёте, о всемирной литературе, то это, конечно, будет Россия. В ее стекаются влияния всех народов – и им не мешают закоренелые предрассудки преданий; в ее неизмеримости раздаются все языки Европы и Азии, в живых звуках; в ее собственном языке заключается все

¹ Припоминаю опять, что писано в 1839 году. С тех пор Бальзак успел быть адвокатом, пускался в политику и на сцену.

² Писано в Германии.

музыкальное богатство, рассеянное порознь в языках европейских; с каждым годом ввоз книг иностранных на всех образованных языках мира растет более и более! Все это должно иметь последствия. А при таком призвании, конечно, в России может зародиться мысль о гражданском устройстве литературных прав между народами. Сил же не недостанет к ее исполнению.

Любопытный разговор наш прерван было восклицанием Бальзакова приятеля, который жаловался на комаров, его кусавших.

Бальзак живо обратился к нему с замечанием:

«А знаешь ли ты, что кусают только самки между комарами, а не самцы? – им нужна кровь для того, чтобы кормить свои яйца».

«Скоро ли явится ваше новое произведение, которое недавно было объявлено?» – спросил я Бальзака.

«Через неделю непременно. Сегодня только я его кончил. *Jai posé la plume*. (Это был роман Бальзака: *un grand homme de province à Paris*¹).»

«Но эти суэты хозяйственныне не мешают ли вашим литературным занятиям – или, может быть, вам они нужны, как отдых от трудов ума?».

«О, мне это совсем не мешает. Всю эту зиму я только и делал, что строил этот дом, который вы видите, и писал. Да, я ужасно устал этою зимою. Я много работал. План мой велик. Я намерен обнять всю историю современных нравов во всех подробностях жизни, во всех сословиях общества. Это составит 40 томов. Это будет род Бюффона нравоописательного для всей Франции. – Что, в России, литература делает ли успехи?».

«Да, она идет вперед. Роман и повесть, у нас, как и везде, господствуют над прочими родами поэзии».

«Так должно быть: эти два типа только и возможны в наше время».

«И должно прибавить, что тип повести, вами созданный, имел у нас особенный успех и господствует над другими».

«О, я ничего не создал!..».

¹ <Провинциальная знаменитость в Париже (*фр.*), 1839; вторая часть «Утраченных иллюзий».>

«Позвольте мне сказать вам, что вы или слишком скромны, или теперь сказали не то, что думаете, изменяя вашему слову быть со мной искренним...».

Эта скромность Бальзака заставила меня менее говорить о его произведениях. Французы обыкновенно любят комплименты и ждут их от иностранцев; но в нем я заметил противное. Вот почему я не говорил с ним об его романах, чтобы не приводить его в замешательство и не мешать его разговорчивости. Зато после он стал откровеннее – и свободно выражался о самом себе.

К чему-то в разговоре с своим приятелем, он заметил: «А! я сказал неправду. Это не хорошо. Для историка оно было бы еще простительно, но для романиста никуда не годится. В романе более правды, чем в истории».

«Не потому ли, что историк не смеет отгадывать прошедшего, а романисту это возможно?» – сказал я.

«Да... но романист, имеющий дело с настоящим, должен только наблюдать и списывать. Вот мое дело. Я также историк, но историк современного. То, что сделал В. Скотт для средних веков, мне хотелось бы, по силам моим, сделать для жизни настоящей».

«Однако ты не всегда поступаешь, как В. Скотт, – сказал Grammont. – Он представлял женщину везде такою, как она быть должна...».

«Да, я не церемонюсь с нею – и пишу ее такою, как она есть в самом деле».

«Дамы Парижа не сердиты ли на вас за верность портретов?» – спросил я.

«О, нисколько! Я у них в милости».

«Что касается до русских дам, я вам за них ручаюсь».

«Да, мне хотелось бы увидеть ваше отечество, – сказал Бальзак. – Это должно быть что-нибудь необыкновенное. Отчего вы все так хорошо говорите по-французски?».

«Может быть, это тайна нашего собственного языка, который объемлет в себе звуки всех языков европейских. Кроме того, мы изучаем языки иностранные издательства. Я привез вам экземпляры двух произведений на вашем языке, изданных русскою дамою».

«Очень вам благодарен. Я об них уже слышал и читал много хорошего... Это перевод “Иоанны д'Арк” Шиллера... Мне это очень любопытно».

...«Grammont! ставь книги теснее, а я между тем отдохну от своей работы, – продолжал Бальзак, садясь на стул возле меня. – Да, многое надоено для романиста. Знаете ли, чего мне стоит эта библиотека? По крайней мере 60 000 франков. – Вон там на камине вы видите полное собрание всех мемуаров, относящихся к революции. Теперь это очень редко. А там внизу четыре большие тома: это карикатуры 1830 года».

«Превращение груши, конечно, тут».

«Разумеется; но знаете ли, что теперь все это у нас уже необыкновенная редкость? – Но у меня еще недостает Монитера. Однако, я куплю его непременно. Он, полный, стоит 1500 франков».

«А на что он вам нужен?».

«Он мне необходим для изучения нравов военной жизни и нашей трибуны... Его материалы войдут в моего нравоописательного Бюффона»...

Бальзак развернул фолиант с карикатурами и, пересматривая их возле меня, указывал на многие лица, как будто ему знакомые... Происшествия из жизни, ему современной, развивались снова перед ним, и он от чистого сердца, простодушно смеялся над ними...

Поблагодарив Бальзака за искренний прием его, я простился с ним и спросил, не позволит ли он мне объявить приезд его в Москву? – «Да, может быть, если общество литераторов пошлет меня для нашей цели». – Несмотря на мои отговорки, он непременно захотел проводить меня по двору и указать мне с опыtnostью сельского жителя, как пройти не загрязнившись до моего экипажа. – Мы вышли за ворота. Бальзак, в своем сельском неглиже и в туфлях, присел очень живописно на столбике у калитки своего дома, и так продолжал еще со мною прощальный разговор свой. – «До Москвы или до Парижа, – во всяком случае, до свидания. Никогда не надоено прощаться иначе!..» – были последние слова его.

Мы расстались. Если бы я владел карандашом, я нарисовал бы его так, как он теперь рисуется еще в последнем впечатлении моей памяти: полный, румяный, свежий житель сельский, с сверкающими глазами, склавши руки, положив ногу одна на другую, полуодетый, нечистый, с открытой грудью, без шляпы, на столбике, у калитки новотесанных ворот своих, перед грязной дорогой, называемой Chemin Vert... Так оставил я первого романиста Франции.

Наивность, почти циническая, особенно в нашем натянутом веке, есть первая черта в наружной физиognомии Бальзака. Среди щегольского Парижа, раздушенного, напомаженного, с длинными, прибранными локонами, которого атрибуты (если изобразить его статуей) будут – белые пластические перчатки, шляпа, блестящая лоском – и сапоги, лаком отражающие солнце, – такой литератор-Диоген, назло всем портным столицы бродящий неряхой в *passage de l'Opéra*, еще поразительнее. – Всякий Француз любит перед вами показаться, принять позу, овладеть вашим мнением, ослепить вас, дать вам больше, нежели сколько у него есть... Не таков Бальзак: он противосмылен жизни парижской; ему нет дела до вашего мнения; он готов явиться перед вами так, как создала его природа. «Вы – по его же словам – видите его так, как он есть».

Но эта наивность, сомнительная в наше время, не есть ли также род позы, искусно принятой и поддержанной силою сознанного таланта? – Человека не проникнешь в одно свидание; но, как бы то ни было, а Бальзак – или дитя природы, или самый умный из французов, который, скинув пошлую маску национальной искусственности, надел другую... маску природы...

Эти черты наружной физиognомии Бальзака, слегка наброшенные, может быть, сколько-нибудь помогут разгадать его характер, как писателя...

**«MATHILDE. MÉMOIRES D'UNE JEUNE FEMME»,
par Eugène Sue¹. 6 Vol. Paris. 1841**

«Читали ли вы “Матильду”?». – «Как! неужели вы не читали “Матильды”?». – «Как вам нравится роман Сю?». – «Как несносен мой книгопродавец! До сих пор не присыпает мне последних двух томов!». – В это время подобные вопросы и восклицания раздавались очень часто в обеих наших столицах, и раздаются может быть еще, простираясь и в те внутренние губернии, где новости французской литературы поглощаются еще с большею жадностию. Да, роман Евгения Сю ни в какой другой стране не произвел такого обширного влияния на общество современное, как у нас. Вот что

¹ <Матильда. Записки молодой женщины. Эжен Сю (*фр.*)>

значит общение языка между двумя народами! Русская критика может и даже обязана говорить о французском романе, как будто о произведении нашей собственной литературы! Даже в этом случае обязанность ее гораздо выше и настоятельнее, чем обязанность Французской критики. Там, в Париже, какой-нибудь новый роман, как бы он занимателен ни был, исчезает незаметным атомом в вихре кружения многих интересов – политических, ученых, театральных, общественных, промышленных; там типографские станки, служа политику, предоставляют одни только скромные углы затейливым рассказам лучших романистов Франции; фельетон – этот блестящий хвост газетный – достался теперь в завидную область писателям французским, которые наперерыв изукрашают его всею роскошью своих повествований. Там роман Сю или Сулье идет впридачу к речам Тьера, Гизо, Монталамбера; это чашка кофе к сытному обеду, которой некогда бывает и выпить деловому человеку. У нас же французский роман, чем-либо примечательный, совсем другое дело: это – важное событие в жизни нашего общества; предмет многих толков и разговоров; содержание французских писем самого тонкого почерка, посылаемых между столицею и губернией; кабинетное наслаждение дам; необходимое занятие праздных мужчин, желающих говорить о чем-нибудь поважнее погоды; оригинал толпы журнальных переводчиков, в своем бесплодии алчущих чужой, насущной пищи!..

Но скажите – что же особенно привлекло наших читательниц к этому роману? Что за счастливец в этих тысячах эфемерных произведений повествующей Франции, равно блестящих всею прелестью говорливого пера ее писателей? Конечно, причина тому – завлекательное содержание самого романа: это записки *несчастной женщины*, новый донос, новая слезная жалоба от бессильного, беззащитного пола на семейную tirанию мужчины, подкрепленную законами одного из просвещеннейших государств Европы! Мотив не новый, мотив едва ли не устарелый в наше время: сколько раз играло им пламенное перо гениальной и чудовищной женщины, которая первая грозно восстала на мужчин, и по свойственному людям противоречию сама же называлась мужчиной! Мотив от Жоржа Занда перешел к другим писателям Франции: под пером женщины он не имел еще вида законности, он не мог привлекать

роя прекрасных читательниц; но теперь Евгений Сю своим новым романом узаконил протест – и слабый пол празднует победу!

Да, точно, он празднует победу! В самом деле, современных повествователей Франции можно было разделить на две главные школы по взгляду их на состояние женщины в нынешнем обществе. Эти школы имели двух шефов: Бальзак, известный мизогин нашего времени, был представителем одной; Жорж Занд – подарок от Сен-Симонистов литературе Франции – предводительствовала другого. Знамя освобождения было смело поднято ею – и последняя школа победила; к женскому знамени пристали многие таланты Франции... Евгений Сю, Сулье пошли по следам Занда... Мизогин Бальзак теперь в тени, зевая, пишет какие-то политические романы... Между тем любимый мотив Занда в самом полном ходу... Женщина страдает, плачет, вопит, доносит почти во всех романах современной Франции... Но никогда еще так привлекательно не жаловалась она на судьбу свою, как жалуется теперь в лице Матильды... Никогда еще ропот женщины не облекался такими обольстительными сетями плачущего бессилия, такими приманками едва не бесспорочной добродетели, которая если раз чуть было и изменила себе, то затем только, чтобы напомнить нам о человеческой слабости и потом явиться в торжестве еще большем... Прежде, в мятежных романах Занда, женщина тиранией мужчины хотела иногда оправдать и прикрыть собственные свои проступки, и впадала в крайности, которым не мог же сочувствовать пол ее. Здесь она только чистая жертва, создана из слез, любви и слабости, и готова на всякую преданность... Вот где причина успеху «Матильды» в кругу наших читательниц. Это – победа школы прав женских над школою мизогина Бальзака, это – узаконенный мужчиною протест за ее права против нашего самовластия.

Где жертва насилия – там всегда толпы около нее: ничто так не привлекает участия, особенно когда жертва сама рассказывает вам свою плачевную повесть... это отгадал Евгений Сю – и вот вам «Матильда»...

Хорошенькая девочка, оставшись сиротою после несчастной матери, вырастала под гнетом самой злой тетки, которая без всякой причины ненавидела младенца, гнала, тиранила и обрекла на всю жизнь самой плачевной участи. Под мучительными ножницами, при визгах верной няни, упали с головы десятилетней девочки

ее прекрасные волосы – и красота при самом ее расцвете осталась обезображенна: лишить косы – этого женского украшения – десятилетнюю девочку во Франции, видно, так ужасно, а между тем для телесного ее здоровья оно, казалось бы, и полезно! Самое пошлое воспитание и совершенное невежество угрожали несчастной, если бы не благородный и честный дядя, который по прямой линии происходит от тех американских богатых дядей, что прежде так славились в старых комедиях и являлись непременно в условный час развязки. Но вот пришло время вступления в свет. Первый бал – великая эпоха для девушки! и тут успели ее очернить и разнести об ней молву, что она пересмешница. Выезды светские кончились замужеством как обыкновенно бывает. Тетка, в заговоре с другими, принесла ее в жертву своей злости, выдав замуж за отъявленного негодяя: Матильда отдала руку по слепой страсти, увлеченная прекрасною наружностью и умом молодого человека. Один лишь месяц, тот месяц, в который все мужчины любезны, знала она счастье. А потом начались терзания. Какой-то безобразный демон в лице домашнего друга явился и расстроил счаствие на самой заре его. Охлаждение чувства, одинокая задумчивость, присутствие роковой тайны, легкие изменения светские, суровые разговоры, в свете – ложный стыд при каждом намеке на супружескую нежность, дома – объяснения, показывавшие какой-то странный взгляд на отношение брака к свету – все это постепенно обнаружилось в муже – и тяжкое предчувствие сковало холодом сердце женщины, только что распустившееся для любви. Но она еще томилась и надеялась, как вдруг свет ужасной тайны блеснул перед ее глазами. Под лициною привлекательного лица, под блеском живого ума, под приманками светской ловкости вскрыто пятно гражданского бесчестия... Уважение потеряно, но любовь осталась... и тайна скрыта. Чета удалилась в деревню... Надежды воскресли, но напрасно... Тут картины несчастной провинциальной семьи, разочарование в дружбе, животно-чувственная жизнь мужа в деревне, предательство подруги, которая считалась верною с самых нежных лет, интрига, открытая между ею и мужем, мучения самой жестокой ревности, утрата последнего утешения – надежды быть матерью, срам публичный, срам, открытый на весь Париж, перенесение всех возможных общественных оскорблений в глазах целого света и, наконец, расхищение всего имения жены рукою подлого

мужа в пользу самой развратной из женщин, подкрепленное неправым законом государства – все это одно за другим пало на бедную Матильду... и любовь не могла не потухнуть... Покинутая, ограбленная, нашла она участие и прибежище у доброй женщины, которой жизнь также была не без грешных воспоминаний. Общество прежнего высшего круга, этот обломок пораженной аристократии, развалина корабля, разбитого политическими бурями, приняло ее в свою атмосферу, не совсем чистую от заразы современных нравов. Здесь нашел покинутую человек благородный, издавна питавший к ней любовь чистую и тайную. Он объявил свое чувство публично, явился каким-то рыцарем в новом вкусе; взялся быть защитником прав женщины, ограбленной мужем и обиженной обществом. Матильда отвечала ему на любовь. Но эти вначале чистые порывы с обеих сторон уступили скоро место другим побуждениям... Был предложен побег в Италию, побег, допускаемый нравами современного парижского общества... Добродетель была на волоске, но Провидение спасло ее... Оно послало страдалице, утешенной новою любвию, невинную соперницу в лице больной, слабой, нервической девушки, и вызвало ее на новые подвиги самопожертвования и преданности... Несчастная добровольно отдалась опять в руки извергу-мужу, который, промотавши все, хотел посягнуть, наконец, на честь самой жены своей... Судьба, а скорее торопливость автора кончить роман, растянувшийся на шесть томов, пособила всему. Она разрешила все препятствия внезапным изменением некоторых характеров и смертью нескольких лиц, и увенчала новую любовь новым супружеским счастьем, которое искуплено было такими страданиями.

Вот содержание «Матильды», нельзя было изложить короче то, что рассказано в шести томах. Этим рассказом мы старались оправдать впечатление, которое роман произвел на наше общество и особенно на читательниц. До сих пор мы не ссорились с ними, мы им не противоречили, мы сами увлекались заманчивостью сюжета, и объясняли, почему оно могло увлечь и их. Но вслед за первым впечатлением, когда оно успокоилось немного, следуют другие вопросы. Переходим к ним: прежде мы не спорили, теперь будем разочаровывать.

Во всяком поэтическом произведении, особенно же в романе светском, две стороны – одна существенная, другая прекрасная: первая – жизнь, вторая – искусство.

Роман светский есть живая картина из жизни современного общества, но кроме того и художественное создание. Жизнь дает ему свои материалы, жизнь отражается в нем как в зеркале. Надобно отдать справедливость романистам Франции, что они хотя и не так глубоко, однако, первые бросили свежий взгляд на жизнь общества, и сделав ее предметом резких наблюдений, связали ее с литературою, прибавим, может быть, и во вред искусству. Конечно, Германия с своим туманным взглядом на жизнь, с своими отвлеченными понятиями об искусстве, никогда не могла бы произвести такого сближения. Роман жизни современной никак не мог приняться в Германии, и не нашел ни одного достойного художника. Весьма замечательно, к каким двум совершенно противоположным крайностям пришло искусство и в той, и в другой стране. В Германии под конец поэзия совершенно отвлекла себя от жизни, впала в темную аллегорию – в последних произведениях Гёте, в туманную неопределенность – в стихах Гейне, в безотчетный лиризм – в других бесчисленных поэтах. Во Франции, напротив, поэзия вся потерялась в жизни, забыла о служении своем прекрасному, истратилась на беглые рассказы о событиях ежедневных, превратилась в говорунью и сплетницу светскую, и подчинила божий дар вымысла, свободу фантазии бесконечным коммеражам на все возможные круги парижского общества.

Роман французский любопытен для нас особенно тою стороною, которою обращен он к жизни! Из газет мы узнаем жизнь политическую Франции, из ее романов – внутреннюю жизнь ее общества. Одно без другого не может быть даже понятно, потому что литература и политика, хотя и сходятся между собою на одних и тех же листах, но не имеют никакой внутренней, нераздельной связи, благодаря осторожности литераторов, которые в своих коммеражах-романах не пускаются в высшие тайны и не указывают никакого на связь между человеком общественным и политическим во Франции. Взглянем со стороны современной жизни парижского общества на роман Сю: что он нам представляет?

На первом плане в содержании, как этого романа, так почти всех современных повестей Франции, вы находите одно: разрушение

семейных связей человека. Один и тот же предмет является вам в «Матильде», в трех разных видах. Ее несчастный брак с Ланкри не что иное, как живая картина модного брака времени, которого основа – корыстная выгода, а счастье – один только месяц. Г-жа Ришвиль, дама высшего общества, с своею дочерью, которую она открыто признать не может, представляет нам другую неприятную сторону семейных отношений. В супружестве доброго провинциала Сешерена вы видите, как столица, в лице отвратительной красавицы Урсулы, развращает патриархальные чистые нравы еще не погибшей провинции и вносит ужас в недра ее мирных семейств. – Среди этого общества замечательны еще два чудовища, имеющих отношение к его нравам: Госпожа Маран – нескладная карикатура на женщину-politика, которая тратит ум на разговоры политические в гостиных дипломатов, и тратит его же на все возможные злодейства в недрах семьи своей. Люгарто – другая нескладная карикатура на тех космополитов-богачей, которые, пользуясь семейным развратом первенствующей столицы в Европе, истощают свои миллионы на то, чтобы плодить заразу, и купаются в нечестии мира.

Возьмите любой роман Сулье: почти везде тот же предмет, то же однообразное содержание. В «Четырех сестрах» он рассказывает нам историю четырех женщин, из которых три разорены тремя подлыми мужьями-аферистами, а четвертая погибает жертвою страсти к человеку, который по обстоятельствам не может назвать ее женою. Тут между прочим встречаете вы странное лицо женщины, род чудовищного Люгарто в женском виде и платье, Mme Del., которая живет как будто за тем, чтобы расстраивать семейное счастье супружеств и проповедывать право разврата на глазах всего общества. Тут находите вы также непонятное превращение молодого скромного человека, который принадлежал лучшему обществу, умышленно воспитан был матерью вдали от развратных нравов столицы, и в два месяца стал одним из первых ее негодяев: такое превращение может объясниться разве из того только, что развратом уж веет и самый воздух Парижа, по мнению романистов Франции.

Не знаем – совершенно верить ли? – а повесть французская почти единогласно и беспрерывно повторяет нам одно и то же, что семейной жизни нет уже во Франции; что она со всеми своими

обязанностями и удовольствиями принесена в жертву или политике, или промышленным рассчетам, или, наконец, низким страстиам подлого сластолюбия; что столица простирает губительную заразу и в мирные недра провинции, где семья еще укрывалась под защитой скромной тишины и дедовских преданий.

Но какая же причина такому страшному явлению? Неглубокая повесть Франции не раскрывает нам ее во всей важности значения, но изредка, каким-то внушением инстинкта, подает на то намеки. Припомним некоторые подробности, откуда, может быть, объяснится нам дело. Вот, что через три месяца муж говорит жене:

Maintenant, nous devons seulement voir dans le mariage une douce intimité basée sur une confiance et surtout sur une liberté réciproque; *nous sommes du monde, nous devons vivre pour et comme le monde*¹. – Вот еще какие уроки дает жене муж для обхождения светского, когда заметил порывы ее ревности и холодное обращение с мужчинами, проистекавшее в ней от любви к мужу: Eh! madame, si vous n'aviez pas un abord si glacial, si dédaigneux, vous seriez assez entourée pour trouver un bras à défaut du mien! Il y a mille coquetteries innocents et parfaitement admises par le monde qui permettent à une femme de chercher dans les hommes qui l'entourent ces soins, ces prévenances que son mari ne peut lui consacrer sans se faire montrer au doigt...²

В этих словах Ланкри высказывается вам страшная истина, что внутренняя семейная жизнь принесена совершенно в жертву жизни светской, общественной; что брак возможен только при взаимном условии мужа и жены давать полную свободу друг другу в обществе, и что он должен во всем уступать высшим самовластным условиям сего последнего. Но скажут, может быть, что из слов такого человека, как Ланкри, нельзя еще вывести никакого

¹ <Отныне мы должны видеть в браке только сладостную интимность, основанную на доверии и, более всего, на взаимной свободе. Мы люди света, и мы должны жить для света и как свет (фр.)>

² <Ах, мадам, если бы вы ограждали себя таким льдом отчужденности, вы имели бы достаточно тех в вашем окружении, кто мог бы предложить вам руку, за неимением моей! Есть тысячи видов невинного кокетства, совершенно допускаемого в свете, которые позволяют женщине искать в мужчинах, ее окружающих, ту заботливость, ту предупредительность, которых ее супруг не может ей уделить без того, чтобы на него показывали пальцем (фр.)>

общего заключения. Положим, что так; но возьмем другое лицо, против которого вы ничего конечно не имеете сказать, – возьмем Матильду, и в ней те же самые мнения, но выражены другою стороною. Когда Рошгюон, увлеченный порывом безумной страсти, которая вышла из пределов приличия, кричит: «*Ma soeur... ma soeur? Je ne vous ai jamais aimée comme une soeur... je vous l'ai dit... Seulement jusqu'ici j'ai eu du courage, jusqu'ici j'ai eu de la volonté... j'ai cru... Eh bien! Mathilde, je n'ai plus ce courage, je n'ai plus ces croyances: serments, voeux, promesses, tout est oublié... Ma passion si longtemps comprimée éclate à la fin...*». И далее: «*Oh, venez... Fuyons... Venez... venez, mon amie, ma soeur, ma maîtresse, ma femme...»*¹. Что отвечает ему изумленная Матильда на это внезапное предложение бежать вместе с ним? «*Si je consentais à fuir avec vous... que penseraient de nous le prince d'Héricourt, et sa femme, qui ont si loyalement protégé notre amour?*». В этих словах простодушие Матильды доходит до такой крайности, что напоминает нам смешное и полное иронии заключение комедии Грибоедова:

Ах Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексеевна?

«*Bien plus!* – продолжает Матильда, – *après avoir eu l'insolente audace de me poser en femme supérieure aux faiblesses humaines, je serai renversée de cet orgueilleux piédestal au milieu des mépris universels...*».

Как! только один этот пьедестал, одно мнение общества, это вечное *qu'en dira-t-on*², удерживает Матильду изменить добродетели? Ни голоса совести, ни малейшего упрека, никакого внутреннего

¹ <«Моя сестра... моя сестра? Я никогда не любил вас как сестру... я вам говорил это... Только до сих пор у меня было мужество, у меня было желание... я верил... И вот! Матильда, у меня нет более мужества, у меня нет более веры: клятвы, обеты, заверения – все забыто! Моя страсть, так долго сдерживаемая, наконец прорвалась... (*И д а л е е:*) О, идемте! Убежим... идемте... идемте... моя подруга, моя сестра, моя любовница, моя жена...» (*фр.*).>

² <Если бы я согласилась бежать вместе с вами, что подумали бы о нас принц д'Эрикур и его жена, которые так благожелательно покровительствовали нашей любви? (*Н и ж е:*) Более того! Обнаружив дерзость поставить себя в положение женщины, вознесенной над толками общества, я окажусь сброшенной с этого гордого пьедестала в среду всеобщего презрения! (*Н и ж е:*) что скажут (*фр.*).>

чувства, просто для себя, для души, для Бога! Да, в этих словах Матильды ясно сама собою высказалась причина явлению в семейной жизни Франции. Вот она.

Франция создала себе кумир, которому поклонился в ней человек и перед которым заклал он в жертву все внутреннее бытие свое: этот кумир было общество. Человек во Франции с самых детских лет привык вырастать на глазах света и ценить внутреннее свое достоинство только степенью действия своего на круг общественный. Такое стремление образовывало великую общественную силу, пока не достигло своих вредных крайностей и пока самое общество не было потрясено в своих коренных основах. Француз и всегда любил скорее *казаться*, чем *быть*, но теперь более, чем когда-нибудь это любит. Француз весь изжился для других и опустел. Общество сокрушило во Франции жизнь семейную – и внешний человек уничтожил в ней человека внутреннего.

Эта печальная истина повторяется во всех важнейших явлениях французской жизни. В политике, блеск пустого красноречия уничтожает дело и вредит существенным пользам народа. Наука служит ступенью или средством для государственного оратора, и более заботится о красоте внешнего изложения, нежели о его сущности. Искусство удивляет перспективой, красками одежд, эффектом внешним, но забыло душу и выражение. На театре сценическое мастерство уничтожило драму – и актер затмил поэта. Промышленность променяла прочность на один наружный вид, существенное достоинство на блестящую минутную роскошь.

Наконец, и литература заражена тою же самою болезнью. Искание необыкновенных эффектов, непрерывное насилиование фантазии, уничтожили поэзию, изуродовали вкус. Обществу испорченному, раздраженному переворотами политическими скорее нужны бы были успокоительные зрелища, но литература сочла за лучшее угощать его всем тем, что могло бы только умножить внутреннее возмущение. Неограниченное самолюбие, неутолимая жажда славы породили множество писак, которые хотя и носят какие-то особенные имена, но однако почти все похожи друг на друга, за исключением небольшого числа избранных талантов. Сии последние страдают также непростительною плодовитостию, и не внутренним достоинством, а только числом томов измеряют свою славу. Даже истинные таланты исписываются: возьмите

Бальзака. Страшною пустотою отзывается вся эта эфемерная литература Франции; если кому-нибудь из них случится поймать новую мысль ипустить ее в ход, то другие растеребят ее, точно так же, как мелкие рыбки в пруде теребят кусок брошенного им хлеба. Все, что ни подумает сегодня французский писатель, сегодня же и отправляет в станок типографский... Вот почему так и пуст французский литератор... он заранее весь сполна напечатан, и в нем, для него самого, для его наущной умственной пищи ровно ничего не осталось.

Литература, страдая сама болезнью Франции, этим злоупотреблением общественного начала, этою неодолимою страстью к выставке своих изделий, не доносит нам об ней, не сознает ее, но изредка только невзначай промолвится насчет нравственного состояния Франции. Повторяя в романе вечный свой мотив – разрушение семейной жизни, – она не доходит до корня злу, не указывает на главную его причину, именно потому, что сама купается в том же омуте, и не в силах из него освободиться. Вот откуда объясняется эта холодная апатия, это равнодушие французских романистов, с каким они изображают нам всю гнусность обыкновенной действительности. Никогда не отзовется в них ни едкая сатира, ни резвый хохот или насмешка, ни даже тонкая ирония. А между тем, какая же другая литература могла бы создать сатиру всемирную, сатиру великую, значительную, если не французская? Но такой род поэзии требует сильного духа, цельного характера в поэте, того что немцы называют полною субъективностью. Такого замечательного лица не найдете вы вовсе между современными писателями Франции: они сами больны недугом народным; они холодные зрители, и сами деятели того же общества, которое нам представляют.

Это уничтожение внутренней жизни во французском человеке посредством внешней, есть главная причина и отсутствию характеров, как в обществе современной Франции, так и в литературе. Что такое характер? – Нравственный образ человека, цельность его духовного существа, выражаемая в мнениях, правилах, поступках, словах. Характер весь принадлежит внутреннему человеку, из него вырастает и определяется, и там становится невозможен, где внутренний человек убит внешним. Укажите в действующей политической Франции хотя на одно лицо, которое бы

много было во всех поступках его подвести к одному знаменателю! Характеры ее найдутся разве только в прежних героях, отживающих век свой. Из действующих лиц всех выше может быть то, которое есть одна из важнейших политических загадок нашего времени. Та же бесхарактерность, какая в жизни, отражается и в лицах романа французского. Вы мне не укажете ни на одно замечательное типическое лицо, которое бы выдавалось и печатлелось в воображения живо, во всей своей целости. Не знаешь, кого обвинять в этом недостатке – современное ли общество, или бездарность писателей Франции, чуждых силы творческой: мы думаем, что вина лежит равно и на той, и на другой стороне.

Здесь от вопроса житейского о романе Франции, от вопроса об отношении его к современной жизни общества, мы переходим уже к вопросу художественному. В романе Сю нет цельных, полных, выдержаных характеров, как и во всех романах французских. Вы не сведете никак действий какого бы то ни было лица к одному концу; вы не выведете их из одного зерна, из одного источника. Мне укажут на одно исключение, на одно живое лицо, целиком схваченное: это Ланкри, муж Матильды. Но разве Ланкри – характер? Напротив, это существо совершенно бесхарактерное, человек без правил и мнений, слабый и пошлый эгоист и сластолюбец, тип как думают ходячий и довольно обыкновенный в наше время; но он-то и говорит в пользу нашего мнения: если можно назвать характером отсутствие всякого характера, то, пожалуй, и Ланкри будет характер. Может быть, иные поклонницы Матильды укажут мне на нее; но слабость и простодушие не могут еще образовать характера. Об этом мы скажем скоро и подробно.

Когда читаешь роман Сю, по временам сдается, что автор морочит своих читателей. Затевая происшествия, он кажется не обдумывает заранее их связки, и для того, чтобы распутать ее, или лучше разрубить, должен иногда изменить внезапно какое-нибудь лицо и дать ему другой оттенок. Так, непонятно внезапное развитие чистой любви в отвратительной Урсуле и все ее быстрое обращение. Так, нельзя постигнуть, как из скромного провинциала Сешереня вдруг вышел свирепый, отчаянный дуэлист, готовый сейчас в любую мелодраму. Романисты Франции, затевая бесконечные романы для газетных фельетонов, хотят играть роль судьбы над своими действующими лицами; но разница в том, что

судьба всегда верна самой себе в ткани событий нашей жизни, а у рассказчиков Франции никак не сведешь концов с концами, и когда они напутали, то под конец просто рубят с плеча, да и только. Потому-то последний том – беда в шеститомном газетном романе: вот вам добрый совет, читательницы, не только не спрашивать, но никогда не читать последнего тома в длинных романах Сю, если не хотите быть совершенно разочарованы. Сулье, однако, бывает естественнее и вернее самому себе в своих развязках, но зато и романы Сулье гораздо короче.

В изобретении происшествий мы видим какую-то борьбу между Сю прежним и Сю новым. Под именем прежнего Сю мы разумеем автора «Атар-Гюля», «Саламандры» и других романов, где преобладала стихия чудовищная, которые сильно отзывались еще ужасами той мелодрамы, откуда все они вышли вместе со всему так называемой романтическою школой юной Франции. Прежний Сю еще ярко виден в чудовищных характерах госпожи Маран, изверга Люгарто, который как *Deus ex machina*¹ везде является. Урсула составляет переход к новой манере: она даже принесена в жертву этому переходу, и потому-то из нее вышло ни то ни сё. Так и пахнут мелодрамой ядовитые цветы, несколько раз являющиеся в романе; а наркотический ужин Матильды, сцена усыпления, последнее ее убежище, эта страшная западня с пружиной, где умирает Люгарто голодною смертию, все это так и просится на театр *de la Porte St. Martin*, под покровительство M-lle George и ее широкого котурна. Нельзя, однако, не сказать в похвалу романисту, что вся мелодраматическая стихия начинает более и более уходить вглубь его романов, а выступает вперед новый Сю, изобразитель положений и событий естественных, взятых искусно из современной жизни. Сцены в кофейной Лебёф – это любопытство французской черни, жаждущей нового – списаны верно с натуры. – Подробности парижского света, первый бал девушки, первое время супружеского счаствия, сцены в свете между мужем и женой, картины из провинциального быта и даже глупый Шопинель, жизнь в замке Маран, сцены охоты, сцены светские в театрах Парижа, пир наглой дворни в доме больной г-жи Маран, пригвожденной параличом к постели – все это относится к новой

¹ <Бог из машины. Неожиданно (лат.).>

манере романиста. Здесь более простоты, естественности; все это отзывается живым наблюдением нравов современного общества, и обещает в повести французской добрую метаморфозу с пользою для самого искусства в некотором отношении. По крайней мере, мы видим тут жизнь, а не одни уродливые исчадия своенравной фантазии писателей. Но этим, конечно, не ограничается еще все наши требования.

Роман ведь не коммераж же только на современный свет, или чья-нибудь подробная повесть, рассказанная умно и живо, не донос на слабости, интриги и гадости общества. Роман, как драма, как эпос, должен быть изящным, цельным созданием, а создание не возможно без мысли. Мысль в романе, как душа, проникает все его составы, все части, оживляет характеры, связывает события в одно целое, придает всему случайному необыкновенное значение... Она повсюду, во всем великом и малом, присутствует невидимо... Но как ее вызвать из этого множества событий? Как отгадать ее в этой массе романа, столько разнообразной, составленной из таких сложных стихий? Как назвать ее одним именем? Как сказать немногими словами: в чем главная мысль Матильды?

Задача нелегкая, однако, попытаемся разрешить ее. Нам кажется, что тайная мысль, положенная в основу всего романа – зерно, откуда он весь родился – может выразиться немногими словами: это – глупость *добродетели женской среди разврата света*. Если вы примерите эти слова к характеру Матильды и ко всем ее поступкам, то загадка вам совершенно объяснится. Или Матильда в самом деле простодушна до крайности, или среди этого мерзкого общества добродетель не может не казаться глупою – вот заключение, к которому вы невольно приходите, которое отовсюду, из всех обстоятельств романа перед вами вытекает. В самом деле, если вы, читая его, обращали внимание на ваше собственное внутреннее чувство, если вы следили невольные движения вашего ума и сердца, – то, конечно, припомните теперь, что, кроме сострадания к несчастной героине, у вас по временам мелькало и чувство досады на это излишнее простодушие женщины, которая так добровольно отдает себя на все, и не дорожит собою для людей, того ни сколько не стоящих. Тайная мысль романиста высказалась невольно и в некоторых местах самого повествования. Припомним слова Матильды ее мужу: «*J'ai été votre lâche esclave, et je n'ai eu*

que les qualités négatives de l'esclavage, la soumission aveugle, la résignation stupide, la patience inerte»¹. В другом месте, Матильда сама подозревает, что общество об ней такого мнения: «La stupide... l'ennuyeuse créature!.. Avec ses plaintes et ses gémissements continuels!.. Elle n'a que ce qu'elle mérite... en un mot, c'est une femme qui a le plus grand tort de tous: celui d'aimer et de ne pas savoir se faire aimer»²... Ланкри в письме своем так отзывается об Матильде: «J'ai passé ma lune de miel seul avec ma femme; au bout de quinze jours tout a été dit; c'a été une monotonie, une lourdeur de tendresse insupportable, aucun élan, aucun entrain»³...

А! в самом деле, уж не морочил ли нас господин Сю? Не смеялся ли он над вами, прекрасные читательницы? Не сыграл ли искусную мистификацию? Все эти шесть томов не вариации ли на тему, как глупа добродетель женская среди нынешнего света? Точно, без этой темы непонятен будет смысл многих действий главного лица. Посмотрите, как жалка эта Матильда, какая бедная роля жертвы! Если бы внутреннее торжество ее возвышало, если бы носилась она над этим миром в величии небесного сияния!.. но нет — того мы не видим: она жалка — и только. Это не твердость добродетели, а только одна мягкая слабость; вспомните ее соблазнительное свидание с Рошгионом, сцену в театре и приказание его, когда он стал ее мужем, оставить больную тетку ее на произвол дворни, в руках самой ужасной смерти, приказание, которому она последовала, как прежде следовала нелепым требованиям грабителя-мужа!.. Да, да, все то, чем вы трогались, над чем вы плакали, все это была одна только глупость, одна слабость женская.

Конечно, мы совершенно разочарованы. При такой мысли никакое произведение не может быть прекрасно... Тут роман исчез

¹ <Я была вашей презренной рабыней, и у меня были только подлые свойства рабыни — слепое повиновение, глупое смирение, бессильное терпение (*фр.*).>

² <Глупое... докучливое создание!.. Со своими нескончаемыми жалобами и стенаниями! Она имеет лишь то, что заслуживает. Одним словом, это — женщина, совершающая величайшую из ошибок: любить и не уметь заставить любить себя (*фр.*).>

³ <Я провел свой медовый месяц только со своей женой; на протяжении двух недель все было сказано; это была однообразная тяжесть несносной нежности, никакого порыва, никакой живости (*фр.*).>

в глазах наших, он выпадает из наших рук, и мы хотели бы забыть все его впечатления.

Господство языка французского в России, плодовитость писателей Франции, праздное бездействие лучших русских талантов и наше *нечего делать* причиною тому, что романы французские читаются у нас более, нежели где-нибудь. Эта короткая связь литературы французской с нашим обществом может быть не совсем выгодна для наших нравов – и мы с опасностью прослыть строгим и скучным моралистом, по долгу совести, скажем несколько слов в предостережение. Пословицу: *dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tues*¹ – можно отчасти применить и к чтению. Следы сего последнего незаметно остаются на нашей душе, входят в наши внутренние побуждения, прививаются к чувствам нашим. Чтение – духовная пища, которой качество рано или поздно отразится в жизни. История литературы предлагает нам явление весьма поучительное: Рим, заимствовавший просвещение из Греции точно так же, как мы заимствуем его с Запада, следовал и в поэзии образцам своей учительницы. В то время, когда важный Рим пустился в словесность, в Греции процветала Менандрова комедия, холдно изображавшая разврат внутренней домашней жизни греков, точно так же, как теперь современная повесть Франции. Известно, что комедия греческая, явясь на сцене Рима, много содействовала искаражению римских нравов. Это событие, чрезвычайно важное в истории словесности всемирной, показывает, как произведения литературы иноземной могут прививаться к сокам жизни народа переимчивого.

Конечно, мы не боимся за всю Россию: она имеет охрану для нравов своих в религии и нетронутом корне семейной жизни, не развращенной никаким вредным общественным стремлением. Но нельзя отрицать возможности какого-нибудь местного влияния от неприличных знакомств, которые навязывает нам беспрестанно роман французский.

Сколько ни глядим мы на Западную литературу, – убеждаемся все более и более в настоятельной необходимости действовать и трудиться всеми силами, и создавать свое национальное, соответствующее нашим потребностям, вытекающее из нашей

¹ <Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты (*фр.*).>

жизни, говорящее нам о нас же самих. Литература стала у нас необходимою потребностию общества: если писатели свои удовлетворять ей не будут, общество поневоле будет утолять свою жажду из источников иноземных, будет жить чужою жизнию, увлекаться чужими пользами, тратить внимание на чужой разврат и на беды чужие. Да, литература в России – дело государственное и частное, дело всех и каждого, кто только получил призвание к ней от Бога. Повествователи наши могли бы взять решительный верх над писателями Франции, и талантом, и вкусом изящным, и глубиною взгляда, и резкою сатирой, и комической иронией, и наконец добрым, нравственным направлением, которое особенно важно для романа и повести, имеющих прямое дело с жизнию. Мы скоро в нашем общем обозрении современной русской литературы надеемся доказать всю справедливость этого положения. Нашим даровитым повествователям недостает одного – деятельности. Не знаем, где тому причина, а до тех пор, пока этот упрек будет иметь силу правды, мы конечно не можем укорять наших читательниц в том, что оне с нетерпением дожидаются романов Сю, ссорятся за них с своими книгопродавцами, и плачут над страданиями чужой для них «Матильды».

ШЕКСПИР О РУССКИХ

Шекспир в произведениях своих обнимает все замечательные события своего века, как во всем известном тогда мире, так особенно и в своем отечестве. Нет, конечно, такого современного происшествия, на которое не было бы у него сильного намека. Англия во времена Шекспира простирала уже виды мореплавания и торговли своей на всю землю, и это всемирное общение ее отразилось и в драме великого ее поэта, которая объемлет весь знаменный тогда свет, все народы и все эпохи.

Карамзин говорит, что Англия только в 1553 году открыла Россию, а до тех пор знала об ней только по слуху. Но едва ли это верно: история английская положительно свидетельствует, что обычаи и костюм русского народа были известны в Лондоне гораздо прежде. Ритсон в примечаниях своих к Шекспиру, основываясь на Галле, летописце времен Генриха VIII, говорит, что

маскарады в одежде москвитян составляли нередкое увеселение двора, еще до времен Шекспира, который родился в 1564 году. Вот собственные слова, приводимые Ритсоном из «Истории Генриха VIII», писанной Галлем: «В первом году царствования Генриха VIII, (т.е. в 1509-м), на пиру, который дан был перед иностранными послами в Вестминстерской палате Парламента, явились лорд Генрих, граф Вейлтиширский, и лорд Фитцватер, в двух длинных платьях из желтого атласа с полосами из белого, в каждую же полосу белого атласа была вставлена полоса крамозинного *по обычаю России* (after the fashion of Russia or Ruslande); на головах у них были меховые серые шапки; в руках по топорику, а на ногах сапоги завостренные кверху». Из этих подробностей мы видим, что костюм русский и обычаи наши были известны при дворе и употреблялись в больших церемониях, еще в 1509 году, следовательно, за 44 года до прибытия Гуга Виллоби и капитана Ченселяра в наши стороны.

Известно, до какой степени доходила при Елизавете страсть к костюмам всех народов, какие в то время были известны. Гаррисон, литератор того века, в своем описании Англии говорит, что беспрерывно меняется костюм в его отечестве: «Сегодня одеваются по-испански; завтра по-французски, там по-немецки, иногда по-турецки, даже по-мавритански: ничто так не постоянно в Англии, как непостоянство костюма. Многие народы не несправедливо осмеивают нас за то, что мы наподобие хамелеона стараемся подражать всем нациям около нас». Не отсюда ли, не из таких ли нравов может отчасти объясниться этот всемирный характер драмы Шекспировой, которая изображает все народы без исключения? – При такой страсти века Елизаветы к одеждам всех народов мира, что же мудреного, что оригинальный, богатый и красивый костюм Русской привлекал внимание роскошного двора ее? Деятельные сношения Англии с Россиею непрерывно продолжались во времена Шекспира. Варбуртон в своих примечаниях к его драмам говорит, что много в это время написано было сочинений о обычаях и быте русского народа; что маскарады в платьях русских составляли весьма важную забаву двора и общества; что особенно в 1590 и 1591 годах новые постановления Англии касательно торговли с Россиею составляли общий предмет разговоров при дворе, в столице и даже в провинции. Мы, русские, в это время уже заметили

наклонность англичан к монополии, и сношения наши не совсем-то были дружелюбны. Царь Феодор Иоаннович писал в грамоте своей к Елисавете: «И тое Божью дорогу, Окиян-море, как мочно переняти, и унять, и затворить?». Но Елисавета, говоря древним выражением, переклюкала нас и в угоду нам запретила даже Флетчерову книгу об России за то, что он в ней много неприятного сказал об нашем отечестве.

Шекспир, так пристально наблюдавший все современное и переносивший в драму свою нравы своего века, мог ли не заметить нас, хотя со внешней стороны, хотя по одежде нашей, которая привлекала внимание общества и двора Елисаветы? И мы не укрылись от его всеобъемлющего взгляда: он вывел, если не русских, то, по крайней мере, одежду русскую в комедии своей *«Love's Labour's lost»* (Потерянный труд любви). Вот ее содержание.

Молодой король Наваррский, Фердинанд, с некоторыми своими придворными, дал клятву на три года посвятить себя изучению мудрости, а для этой цели удалил от двора своего всякое сообщество с женщинами. Но в то время как решился он на подвиг такого заключения, является ко двору Наваррскому послом от короля Франции прекрасная дочь его с свитою придворных дам, для переговоров об одной спорной заложенной области, король Фердинанд не может отказать такому послу: он принял принцессу и влюбился в нее без памяти. Его приближенные влюбились также в придворных дам ее. Вся эта интрига, перемешанная другими забавными эпизодами, оживляет остроумную комедию Шекспира. Но принцесса ведет себя холодно с влюбленным королем. Король, чтобы как-нибудь понравиться предмету любви своей, вымышляет вместе с своими придворными явиться к принцессе замаскированными, в платьях москвитян или русских. Бойэ, придворный принцессы, подслушав из-за куста намерение короля, передает его своей государыне и объявляет ей, что король и его придворные скоро придут переряженные в москвитян или русских (*apparell'd like Muscovites or Russians*), с тем чтобы говорить с своими возлюбленными, строить им куры и танцевать. Принцесса также маскируется с своими дамами. Король и трое придворных являются в русских платьях (*in Russian habits*). Им предшествует мальчик-вестник, который выражается словами очень выискаанными. Русские играют свою роль; говорят, что они прошли много миль

тяжелыми шагами, для того чтобы видеть эту красоту; что они, *подобно диким*, ее обожают. Француженки, обменявшиеся ролями, провели русских, и они удаляются недовольные. Принцесса говорит им вслед: «Двадцать раз прощайте, мои мерзлые московиты! (my frozen Muscovites!) Эта ли порода остроты такой удивительной?». – Бойе, придворный француз, отвечает ей: «Они, как свечи восковые, погасли от вашего сладкого дыхания». – Розалина прибавляет: «У них острота такая дородная, толстая претолстая, жирная-прежирная». – Когда король с придворными возвращается снова к своей любезной, принцесса хвалит русских за их ловкость, щегольство и вежливость, но Розалина бранит их за безобразие и смешное, грубое убранство, более в насмешку над ними. – Все эти подробности указывают нам на то, как англичане времен Елизаветы смотрели на наших предков. Замечательно, что от зоркого глаза Шекспира не укрылось дородство их и эта грубая сила телесная, которая долго мешала умственному развитию! Тут же, в этих же самых сценах, где намекнул великий драматик на свойства наших предков, так начертал он характер остроумия французского: «Вот человек, который клюет остроту, как голуби горох. Он продает ее по мелочи, разменивает свой товар по пирам, кладбищам, съездам, рынкам, ярмаркам, и нам торгающим оптом никогда не удавалось выставлять товар свой с таким блеском»... Вот как гений Шекспира постигал характер французов, народа близкого в то время Англии, и его же всепроницающая наблюдательность схватила черты дородного, плотного ума наших неповоротливых предков и запечатлела их этими двумя памятными для нас стихами:

...My frozen Muscovites:
Well-loving wits they have; gross, gross; fat, fat¹.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИСТЕ

Нельзя не сказать, что в нынешнем году московская летопись особенно обильна славными музыкальными воспоминаниями. Рубини и Лист ее украшают. Мы отдали отчет о пребывании

¹ <Московиты ледяные! <...> Мозги в них слоем жира заросли (англ.; пер. Ю. Корнеева).>

первого. Большиою небрежностию с нашей стороны было бы не сказать ничего о втором. В течение трех недель с слишком Лист волновал своими звуками нашу мирную столицу. Несколько раз большой и малой театры наполнялись сверху донизу слушателями. Благодаря просвещенному гостеприимству начальника столицы ко всем славным талантам иноземным и его заботливости об изящных удовольствиях наших, публика Москвы могла слышать Листа и в своей любимой зале с удвоенным наслаждением, потому что каждый звук волшебной игры его отдавался здесь со всевозможною ясностию. Мы не упоминаем о других собраниях, в которых Лист принимал участие. Щедрый и великодушный, он расточал богатство своего таланта, где только мог. Никакого артиста не лишил он своего содействия, и даже участвовал в бенефисе одного актера, которому пребывание Листа в Москве, поглощавшее все внимание публики, угрожало пустотою в театре. Редко бывает, чтобы Москва сливалась так единодушно в полное чувство восторга и удивления, как было в те незабвенные минуты, когда она его слушала.

В 1839 году, в Риме, я слышал в первый раз игру Листа. С тех пор прошло не так много времени, и если бы я не видел в лицо того же самого художника, то никак бы не мог поверить, что играет тот же Лист, которого слышал я назад тому четыре года. Так изменился он, так неизмеримо вырос в это время, и художник сам это знает, и сознавал эту перемену в себе перед многими любителями. Тогда, в поре кипенья не устоявшихся еще сил, он предавался каким-то неистовым порывам игры необузданной. Его инструмент, и все его окружавшее, бывали нередко жертвою его музыкальных припадков. В парижских журналах, когда описывали его концерты, встречались подобные фразы: «Четыре рояли были побиты неистовою игрою Листа». Иные сравнивали его с Кассандрою, одержимою духом видений; другие с беснующимся; третьи просто с демоном, который выражает свои мучения на фортепьяно и убивает свой инструмент в порывах ярости. С тех пор сделалось общим местом находить в игре Листа что-то демоническое, чего не было и тогда, как мы объясним ниже, но что уж вовсе нейдет к современному Листу, который явился к нам в самой цветущей поре своего развития, во всей стройности сил возмужавшего гения.

В то время, казалось, художник хотел превратить робкое и слабое фортепьяно в целый оркестр. В этих усилиях было что-то поразительное и иногда неприятное, как во всяком усилии, нарушающем красоту искусства. Фортепьяно оставалось все-таки самим собою – и не могло отвечать вполне всем вызовам музыканта. Говорили о художнике, (и может быть тут была относительная правда), что он жертвует вкусу века, и, как верный сын его, ищет тех же эффектов, каких искала часто поэзия нашего времени. Но если бы Лист не был истинным художником, если бы природа не дала ему призвания выражать одну из сторон искусства современного, он остался бы при этих усилиях, и исказив Божий дар исканием эффекта, как многие художники его времени, изумлял бы людей, но не волновал бы их души в самой глубине чувства. Нет, в порывах тогдашней неистовой игры, не было ни демонического, ни ложно натянутого, как оправдали последствия: в них только разоблачал силы своей молодой художник. Гениальное искусство часто начинается с борьбы и неимоверными, гигантскими усилиями знаменует первые шаги свои. Титанически-высокое и колоссальное предшествуют в скульптуре и драме древней изящному и грациозному. Прочтите первые драмы Шекспира – вы найдете в них те же усилия. Должно думать, что и в природе кедры и дубы встали прежде, чем расцвели розы и лилии.

Первая эпоха игры Листа была юность гениального художника: он вызывал свой инструмент на борьбу с собою; он спрашивал его, пытал насильственно, могут ли его клавиши выразить собою все чувства потрясенной души в их разнообразных оттенках и переливах? – Мир, увлеченный другими талантами напряженными, мог думать несправедливо, что это те же эффекты, но в них таилось иное значение, и развившийся вполне художник оправдался.

Воспитанный в Москве на свежих впечатлениях грациозной и пластической игры нашего Фильда, я не мог сочувствовать тогда бурным порывам музыканта, от которых содрогался инструмент его. Я не знал еще, какое богатство будущего таилось в этой игре. Я не мог предугадать нынешнего Листа. Не скрою, что сначала я слушал его здесь с предубеждением, составленным в Риме; но скоро он овладел мною, и с третьей пьесы я уже испытывал на себе всю власть и силу его волшебных звуков.

Но даже и тогда, в этой мрачной и порывистой игре, бывали яркие, светлые минуты, которые пророчили будущее... Как горный поток, прорвавшись сквозь ущелья, сквозь чащу лесов, по скалам и преградам, вытекает в долину, чист и светел, зеркало небу: так и тогда игра Листа, сквозь дебри темных и глухих звуков, через шум диссонансов и звон порванных и спущенных струн, выносилась иногда ясная, чистая, естественная, как душа, волнуемая живою страстию...

Могучая сила художника, преобладавшая в то время, вошла в свои границы. Мера есть внешний признак красоты искусства, вполне развитой. Лист является нам теперь в совершенном равновесии сил своих. Борьба с инструментом кончена: он совсем покорен художнику — и полным, верным отголоском отвечает на все вызовы могучей души его. Да, инструмент и душа художника уже слились в одно. Потоки чувств, дум и страстей льются свободно через персты его в эти покорные клавиши, и для всего находится в них верный, точный, ясный звук, и душа нашла себе них определенный язык, как наш, и плачет она, стонет, смеется, улыбается, вздыхает, мучится, любит и ненавидит, как ей угодно. И как огромно вырос этот слабый инструмент, потому только что душа такого великого художника им овладела! какие силы развел он в своей немощи! какое чудо над ним совершилось! Он стал способен греметь как гром и орган, рыдать и почти взвизгивать как скрипка, стонать и вздыхать как флейта, и даже петь как голос человеческий. Все звуки, сильные и сладкие, природы и искусства, ему покорились, и он перенял их тайну, и усвоил их себе, и все слил в свою гармонию... Такого полного сочетания души с инструментом, фортельяно еще никогда не достигало... Скрипка достигла его раз под смычком Паганини, и с тех пор замолкла.

Вот где тайна волшебному действию Листа на нас! Скажите, какой другой художник, действующий не голосом, а инструментом, так свободно покорял себе душу всех и каждого, так поглощал все ваше внимание, опутывал вас такою невидимою сетью звуков; что вы теряли всю власть над собою и предавались его воле? — И чем далее вы его слушали, тем яснее, легче и доступнее становилось вам его искусство.

С некоторых пор вошло в моду объяснять тайну действия художественного какою-то демоническою силою, которая сверх-

естественно движет человеком. Странный предрассудок, странное противоречие в наше гордо-разумное время, и какое-то непонятное отчаяние в силах души человеческой! Мы никак не думаем, чтобы мыслящие так, под именем этой силы демонической разумели силу злую и нечистую; нет, мы нисколько не подозреваем в них такой отвратительной и даже ложной мысли. В действие мира изящного не может быть допущена никакая сила злая и нечистая — и покоряясь первому, они не могут признавать присутствия второй.

Нет, перстами великого художника движет не злой демон, потому что сей последний бездушен и безжизнен, а в клавишиах Листа живет такая сильная душа и такою полною жизнию! Мы не допустим тут и доброго гения, потому что музыка Листа в таком случае была бы слишком возвышенна и небесна, и мы готовы в этом случае повторить слова поэта:

Не называй ее небесной
И у земли не отнимай.

Нет, Лист за клавишами тот же человек как мы. В его звуках дышит душа нам родная, созданная из тех же чувств и страстей как наши, но умеющая за всех нас страдать и чувствовать, и одаренная счастливым умением выразить нам в мире неисчислимых звуков всю глубину своих и наших дум и страданий! Если бы это был демон злой, он бы нас замучил и расстроил; если добрый гений, мы бы перед ним изумлялись и благоговели; но для того, чтоб мы могли ему так сильно, так полно сочувствовать, он должен быть как мы человеком. Иначе не было бы связи между им и нами, и мы бы его не поняли, и душа наша не отвечала бы внутренними слезами на его жалобные звуки.

Глубокое значение имеет искусство Листа в наше время. Когда разум человеческий теряется в расчетах богословских, философских, политических, торговых и промышленных, надобно же, чтобы где-нибудь сказывалась страдающая, томящаяся душа человека, — и вот над миром логических формул, в которых будто бы вложены и определены все истины, над миром цифр, где все размерено, исчислено и взвешено, создала она себе мир неопределенных звуков. Да, музыка Листа — вопль звучащей души в пустыне

холодного разума! Как часто своими начальными диссонансами, которые будто не хотят разрешиться, выражает она разногласие эпохи нам современной – и потом полным и чудным их разрешением пророчит и нашим такое же полное и внезапное разрешение! Все страстные мотивы современной оперы, которая перенесла в свою область всю страстную душу драмы Шекспировой, у ней под рукою. И какое орудие избрала она для своих действий! Инструмент ограниченный, светский, гостинный, которого звуки доступны людям самым обыкновенным, которого игра входит во всякое воспитание, основанное на внешнем блеске... Душа художника изменила его так, что вы изумлены превращению; но действия ее тем сильнее, что язык, ею избранный, кажется всем известным и понятным.

Когда, добровольно покоряясь волнам этого моря звуков, по которому носит вас волшебный художник, вы наблюдали действия его на вашу душу, – не замечали ли вы, что он доходит до самого дна ее, и стрясая с него весь груз настоящей жизни, будит в ней все то, что таится лучшего и заветного? Вся былая красота нашего минувшего выводит перед нами ярко все свои краски – и человек становится способнее жить всею лучшею стороною земного бытия своего. Чем же, если не силою души, совершают все это художник? Люди, расчетами холодного рассудка убившие сокровище душевное, потеряли веру в силу и жизнь души человеческой – и они только могут прибегать для объяснения этих действий к какой-то силе демонической, признавая с тем вместе несостоятельность своего разума. Им кажется, что душа наша к таким чудесам искусства стала уже неспособна, которых они не могут измерить своим разумом, и вот почему странно противореча самим себе, они вызывают какого-то демона на помочь разуму, признавшему себя банкротом. Но вопреки им, душа наша живет и действует в музыке, и чудесами явлений этого современного искусства восполняет важный недостаток в человеке нашего столетия. Да, художник...

Твоей гармонии внимая,
Я думал, чувствуя тебя:
Не отжила любовь земная
И мир не пережил себя.

Благодарю тебя за это сладкое убеждение. Благодарю тебя за те слезы души, которыми отзывались во мне твои чистые звуки; благодарю тебя за все прекрасное, которым ты освежил мои земные чувства; буду помнить долго, долго, никогда не забуду твоего вдохновенного лица, когда ты, только что покинув мир своих звуков, стоял еще весь полный ими, и яркий отсвет вдохновения белел на утомленных чертах твоих... И прибавлю к этой благодарности искреннее желание сердца, чтобы силы тела твоего могли долго и долго выносить порывы твоей восторженной души, чтобы ты долго и долго был в состоянии своими звуками будить, трогать и волновать часто засыпающую душу современного человека.

КОММЕНТАРИИ

Статуя киевлянина, назначенная для фонтана в Москве

Впервые: Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 1. С. 316–321. Подпись: С.П. Шевырёв.

…жить в том же городе, где творит резец Торвалдсена, Тенерани, или кисть Брюллова, Бруни, Каульбаха… – Датский скульптор Бертель Торвальдсен (1768 / 1770–1840) жил по преимуществу в Италии. Итальянский скульптор Пьетро Тенерари (1789–1869) жил в Риме и работал в мастерской Торвальдсена. Русские художники К.П. Брюллов и Ф.А. Бруни подолгу жили в Италии. Немецкий живописец Вильгельм фон Каулбах (1805–1874) в 1835 г. посетил Италию и рисовал ее природу.

Джованни Витали, более известный как Иван Петрович Витали (1794–1855) – русский скульптор итальянского происхождения.

…рассказ о подвиге киевского отрока… – Согласно летописи, в то время как князь Святослав Игоревич вел кампанию против Болгарского царства, печенеги вторглись на Русь и осадили ее столицу – Киев (968 г.). Осажденные страдали от жажды и голода. Люди иной стороны Днепра во главе с воеводой Претичем собрались на левом берегу Днепра. Доведенная до крайности, мать Святослава княгиня Ольга (которая находилась в городе со всеми сыновьями Святослава) решила передать Претичу, что сдаст город

наутро, если Претич не придет на выручку, и начала искать способы связаться с ним. Наконец молодой киевлянин, свободно говоривший по-печенежски, вызвался выбраться из города и добраться до Претича («И рече един отрок: Аз преиду»). Притворяясь печенегом, разыскивающим свою лошадь, он пробежал через их лагерь. Когда он бросился в Днепр и поплыл к другому берегу, печенеги поняли его обман и начали стрелять по нему из луков, но не попали. Когда юноша добрался до Претича и сообщил ему об отчаянном положении киевлян, воевода решил внезапно переправиться через реку и вывезти семью Святослава, «а если нет, погубит нас Святослав». Рано утром Претич и его дружина сели на свои корабли и высадились на правом берегу Днепра, трубя в трубы. Думая, что армия Святослава вернулась, печенеги сняли осаду. Ольга с внуками вышла из города к реке.

Последняя импровизация Джустиниани в Москве

Впервые: Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 1. С. 322–324. Б. п.

Джованни Джустиниани – итальянский поэт и импровизатор, лектор, импровизацией прощался с Москвою. Родился в 1810 или 1807 г.

Александр Яковлевич Булгаков (1781–1863) – чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе в 1832–1855 гг., московский почт-директор.

«На приезд Государя Императора в Москву, во время холеры». – 28 августа 1830 г. императору Николаю I доложили, что на центральные губернии России наступает смертоносная «индийская зараза». Так в народе называли холеру, поскольку вчной колыбелью этой страшной болезни считалась долина Ганга. Зловещая эпидемия в кратчайшие сроки оккупировала города Поволжья и стремительно поднималась на север. Во второй половине сентября «индийская зараза» добралась до Москвы. 29 сентября царь прибыл в Москву. За восемь дней пребывания в зараженном городе Николай I лично принимал меры по борьбе с холерой и ее последствиями. Вот как описывал деятельность царя сопровождавший его граф Александр Бенкendorf: «Государь сам наблюдал,

как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях и только, устроив и обеспечив все, что могла человеческая предусмотрительность, 7 октября выехал из своей столицы».

...из Тассова «Иерусалима». – «Освобожденный Иерусалим» (1581) – рыцарская поэма Торквато Тассо. В основе произведения лежат события Первого крестового похода под предводительством Готфрида Бульонского, завершившегося взятием Иерусалима и основанием первого на Ближнем Востоке христианского королевства.

«Сонет на приезд Наполеонова праха в Париж». – Джустиниани импровизирует на тему переноса праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. Оноре де Бальзак, 15 декабря 1840 г. присутствовавший при торжествах, так рассказал об этом в письме к своей возлюбленной, польской аристократке и подданной российской короны Эвелине Ганской: «Берега Сены были черны от теснившегося на них народа, и все опустились на колени, когда мимо них проплыval корабль. Это величественнее, чем триумф римских императоров. Его можно узнать в гробнице: лицо не почернело, рука выразительна. Он – человек, до конца сохранивший свое влияние, а Париж – город чудес. За пять дней сделали сто двадцать статуй, из которых семь или восемь просто великолепны; воздвигнуто более ста триумфальных колонн, урны высотою в двадцать футов и трибуны на сто тысяч человек. Дом Инвалидов задрапировали фиолетовым бархатом, усеянным пчелами. Мой обойщик сказал мне, объясняя, как все успели: “Сударь, в таких случаях все берутся за молоток”». Виктор Гюго назвал эти торжества «монументальной галиматней».

Гюльнара – героиня восточной поэмы Дж.Г. Байрона «Корсар» (1814).

Парижские эскизы. Визит Бальзаку

Впервые: Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 357–383. Подпись: С. Шевырёв. Перепечатано в книге: Бальзак в воспоминаниях современников / Комментарии и указатели И. Лилеевой и В. Мильчиной. М.: Худож. лит., 1986. С. 301–319.

Шевырёв посетил Оноре де Бальзака в Жарли 31 мая или 1 июня 1839 г.

Тюильрийский салон (Парижский салон) – одна из самых престижных художественных выставок Франции, официальная регулярная экспозиция парижской Академии изящных искусств. Во дворце Тюильри находилась резиденция короля.

…называется площадью *Согласия*. – Площадь Согласия считается красивейшей в Париже. Расположена она чрезвычайно удачно: с нее открывается вид на перспективу Елисейских полей, сад Тюильри и Лувр. Основал площадь Людовик XV. В выборе места сказался точный экономический расчет: в 1755 г. эта территория не входила в черту города, земля дешевая. Архитектор Габриэль спроектировал площадь Людовика XV в виде восьмиугольника с конной статуей короля в центре. Во время революции памятник снесли, на постамент водрузили статую Свободы, площади дали новое название – Революции. Здесь казнили Людовика XVI.

Пуассардки – торговки. Рынок Невинных – один из парижских рынков, во второй половине XIX в. закрытый.

Вандомская колонна – парижская «колонна Побед» (прежнее название) Великой армии на Вандомской площади в 1-м округе Парижа, воздвигнутая по декрету Наполеона I от 1 января 1806 г., в память побед.

…*Гюго... толкается в запертые ее двери!* – Гюго был избран в Академию только в 1841 г.; в декабре 1839 г. он «провалился» на выборах.

…*права на литературную собственность...* признано Парламентом Франции! – В марте 1841 г. вопрос о литературной собственности обсуждался во французском парламенте, но никакой закон принят не был.

...муза Алфреда де Винни одна сохранила целомудренную чистоту... – Шевырёв посвятил творчеству Винни статью «Чаттертон. Драма Алфреда де Винни» (Московский Наблюдатель. 1835. Ч. 4), где противопоставил автора «Чаттертона» («скромного художника») Виктору Гюго, чьи драмы полны ужасов, нелепостей и «клеветы на человеческую природу».

В России Бальзак... почти национален. – Подобным образом оценивал репутацию Бальзака в глазах русской публики не один Шевырёв. Историю переводов Бальзака в России см. в статье: *Ли-леева И.А. Творчество Бальзака в России и Советском Союзе.* – В кн.: Оноре де Бальзак. Библиография русских переводов. М., 1965. С. 6–36.

Это Диоген между ними. – Имеется в виду экстравагантный образ жизни греческого философа Диогена Синопского.

...не живет в Париже, а за городом, в местечке Пасси. – В Пасси, на улицу Басс, Бальзак переселился только в 1840 г.

...к тому самому Сувереню. – И. Суверен, начавший свое сотрудничество с Бальзаком с издания сочинений Ораса де Сент-Обена. Речь идет о Полном собрании сочинений Ораса де Сент-Обена (т.е. ранних романов Бальзака), право на издание которого Бальзак 9 декабря 1835 г. продал И. Суверену за 10 тысяч франков; издание выходило в 1836–1840 гг. К концу 30-х годов он стал основным издателем Бальзака.

Йозеф Фрауэнгофер (Фраунгофер) (1787–1826) – немецкий физик, оптик.

...на лекции у Гиньо, переводчика Крейцеровой «Символики». – Труд Ж.-Д. Гиньо «Религии древности, рассмотренные прежде всего в отношении символическом и мифологическом» (т. 1–10, 1825–1851) представляет собой расширенный и дополненный перевод книги Ф. Крейцера «Символика и мифология древних народов» (1810–1812). С 1835 г. Гиньо был профессором кафедры географии словесного факультета Парижского университета.

...под ружьем, в карауле! – Имеется в виду дежурство в Национальной гвардии.

Коллегиум – Коллеж де Франс (основан в 1530 г.).

Я не имею еще кафедры профессора ординарного... – Шевырёв, вышедший из Университетского пансиона с чином 10 класса, в 1833 г. был избран сверхштатным адъюнктом словесного отде-

ления Московского университета, в 1834 г. стал преподавателем, с начала 1835 г. был включен в штат, а в мае 1837 г. был утвержден экстраординарным профессором. Ординарным профессором он был утвержден лишь 27 сентября 1840 г., уже после возвращения из европейского путешествия, а 28 февраля 1841 г. был произведен в коллежские советники.

...уже несколько лет существует в России. – Первым русским законом об авторском праве считается цензурный устав 1828 г., к которому было приложено положение о правах сочинителя.

Жан Батист Густав (*Гюстав*) Планни (1808–1857) – французский литературный и художественный критик.

...какие... суммы получали Шатобриан и Тьер... – Шевырёв имеет в виду участие Шатобриана в выпуске ультрапоялистской газеты «Консерватор» (1818–1820) и сотрудничество Тьера в 20-е годы в оппозиционной газете «Конститюсьонель».

...литературные статьи Жанена, Филарета Шалля, Сент-Бёва. – Жюль-Габриэль Жанэн (1804–1874) – французский писатель, критик и журналист, член Французской академии. Виктор Эфемион Филарет Шаль (1798–1873) – французский писатель, критик, педагог, литературовед, историк литературы, профессор в Колледже Франс. Шарль Огюстен де Сент-Бёв (1804–1869) – французский литературовед и литературный критик.

Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts. St. Pétersbourg: Librairie de la cour impériale (S. Dufour), 1832–1863. Т. 5–88; издатель Bellizard.

...Гёте, о всемирной литературе. – И.П. Эккерман в своих «Разговорах с Гете...» записал 31 января 1827 г.: «Национальная литература сейчас не много стоит. Сейчас мы вступаем в эпоху мировой литературы, и каждый должен теперь содействовать тому, чтобы ускорить появление этой эпохи. Но при таком высоком признании иностранного мы не можем задерживаться на чем-то особенно и считать его образцом. Не надо думать, что таким образом будет специально китайская литература или сербская, или Кальдерон, или “Нибелунги”; потребность в высоких образцах все снова и снова приводит нас к античным грекам – именно в их произведениях воплощен прекрасный человек». Первая из заметок Гёте о мировой литературе как новом явлении в духовной жизни чело-

вечества была напечатана в 1827 г. в журнале «Искусство и древность».

...я его кончил. – Вторая часть романа «Утраченные иллюзии», изданная Сувереном, поступила в продажу 12 или 13 июня 1839 г.

Бюффон (1707–1788) – французский натуралист, биолог, математик, геолог, писатель и переводчик. Основной труд Бюффона – «Естественная история» в 36 томах. Высказал идею о единстве растительного и животного мира.

...двух произведений... изданных русскою дамою. – Имеется в виду Каролина Павлова (1807–1893); Шевырёв передал Бальзаку ее сборник «Les Préludes» («Прелюды»), куда вошли переводы на французский язык произведений В. Скотта, Т. Мура, Гёте и др., и перевод трагедии Шиллера «Орлеанская дева» (оба – 1839).

До Москвы или до Парижа. – Бальзак впервые приехал в Россию летом 1843 г., но в Москве, где жил Шевырёв, не побывал.

«Mathilde. Mémoires d'une jeune femme», par Eugène Sue

Впервые: Москвитянин. 1842. Ч. 1. № 2. С. 602–618. Подпись: С. Шевырёв.

Эжен Сю (наст. имя – Мари Жозеф, 1804–1857) – французский писатель. Роман «Матильда» (1841, рус. пер. 1846) имел большой успех.

...речам Тьера, Гизо, Монталамбера. – Французские публицисты, историки, политические деятели Мари Жозеф Луи Адольф Тьёр (1797–1877), Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787–1874), граф Шарль Форб де Монталамбер (1810–1870).

Жорж Занд (Жорж Санд) (1804–1876) – литературный псевдоним французской романистки Авроры Дюдеван.

Фредерик Сулье (1800–1847) – французский писатель.

Ах Боже мой! что станет говорить / Княгиня Марья Алексеяна? – А.С. Грибоедов. Горе от ума. IV, 15.

...театр de la Porte St. Martin (театр на бульваре Сен-Мартен) был создан в 1781 г. по желанию королевы Марии-Антуанетты. Театр был вновь открыт в 1802 г. с названием

Порт-Сен-Мартен и репертуаром, состоящим из комедий и балетных спектаклей.

Маргарита Жозефина Веймэр, известная как мадемуазель Жорж (*m-lle George*, а также *m-me George* – псевдоним по имени отца) и Жоржина (1787–1867) – французская трагическая актриса, любовница Наполеона и, по слухам, Александра I, гастролировала в России в 1808–1812 гг.

Шекспир о русских

Впервые: Москвитянин. 1842. Ч. 3. № 5. С. 93–96. Подпись: С. Шевырёв.

Англия только в 1553 году открыла Россию. – В 1553 г. были установлены дипломатические отношения между Россией и Великобританией, когда представитель короля Эдуарда VI – Ричард Ченслор (Ченслер), пытаясь отыскать «северо-восточный проход» в Китай и Азию, остановился в столичном граде Московии и в 1553 г. был представлен царю Ивану IV.

Джозеф Ритсон (1752–1803) – английский литературовед; основываясь на хронике Холиншеда, летописца времен Генриха VIII, утверждал, что русский костюм в качестве маскарадного убранства был известен при английском дворе еще в 1510 г.

…прибытия Гуга Виллоби и капитана Ченслера. – В мае 1553 г. из Англии отплыло три корабля под начальством Хью Уиллоуби, чтобы найти новые земли для торговли и наладить с их народами отношения. Но до России доплыл только один – «Эдуард Бонавентура» («Эдуард Благое дело») под командованием Ричарда Ченслера. Два других несчастных корабля были отнесены в Белое море. Как сообщает Двинская летопись, год спустя их, затертых льдами, нашли местные карелы: «Стоят на якорях в становищах, а люди на них все мертвы и товаров на них много». Потеряв их и надеясь, что товарищи вскоре найдутся, Ченслер и его команда в 27 человек продолжили путешествие. В августе 1553 г. они высадились на русской земле у устья Северной Двины и вскоре были приглашены царем Иваном Васильевичем в Москву. Посетившие Москву в 1553 г. англичане удивились богатству знати.

Уильям Гаррисон (1534–1593) – английский историк, в описание Англии которого вошла хроника Холиншеда, откуда Шекспир черпал сюжеты своих пьес.

Потерянный труд любви – современное название этой комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви».

Несколько слов о Листе

Впервые: Москвитянин. 1843. Ч. 3. № 5. С. 316–321. Подпись: С. Шевырёв (в оглавлении).

Ференц (Франц) *Лист* (1811–1886) – венгерский композитор, пианист, педагог, дирижер, публицист. Приглашения приехали в Россию поступали Листу, имевшему мировую известность, уже неоднократно. Однако решился он на эту поездку только в 1842 г. В субботу, 16 (4) апреля, Лист прибыл в Санкт-Петербург. Уже на следующий день после приезда, 17 (5) апреля, Лист дал свой первый концерт при императорском дворе – в концертном зале Зимнего дворца. Перед концертом состоялась краткая аудиенция у Николая I. 27 (15) мая Лист на пароходе отбыл из Кронштадта в Любек. В 1843 г. Лист вновь концертировал в России.

Джованни Баттиста *Рубини* (1794–1854) – итальянский оперный певец-тенор, в 1843–1845 и 1847 гг. выступал в составе итальянской труппы в России.

Мы отдали отчет о пребывании первого. – Речь идет о статье Шевырёва «Пребывание Рубини в Москве» (Москвитянин. 1843. Ч. 2, № 4. С. 577–587).

В 1839 году, в Риме, я слышал в первый раз игру Листа. – В марте 1839 г. в Риме в доме князя Дмитрия Владимировича Голицына состоялся концерт, не только вошедший в историю музыки как первый сольный фортепьянный концерт, но и положивший начало связям Листа с Россией.

Кассандра – в древнегреческой мифологии троянская царевна, наделенная Аполлоном даром пророчества и предвидевшая гибель Трои.

Джон Фильд (1782–1837, Москва) – ирландский композитор, основоположник жанра ноктюрна. Славился как пианист-виртуоз и как авторитетный педагог. Большую часть жизни провел в России.

Не называй ее небесной / И у земли не отнимай – Н.Ф. Павлов (1803–1864). «Она безгрешных сновидений...» (1834).

Твоей гармонии внимая, / Я думал, чувствуя тебя: / Не отжила любовь земная / И мир не пережил себя. – Автор не установлен.

*Подготовка текста
и комментарии А.Н. Николюкина*